Евгений
Войскунский

БАЛТИЙСКАЯ САГА

Евгений Львович Войскунский
Балтийская сага

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39286111
Балтийская сага:
ISBN 978-5-480-00397-0

Аннотация

«Балтийская сага» – роман о трех поколениях петербургско-ленинградской семьи, связанных с Балтийским флотом на протяжении почти всего XX века. Широкая панорама исторических событий начинается с Кронштадтского мятежа 1921 года – он, как неожиданное эхо, отражается в судьбах героев романа. Воссозданы важнейшие этапы битвы на Балтике и Ленфронте – трагический переход флота из Таллина в Кронштадт, яростная борьба морской пехоты под Ленинградом, героические прорывы подводных лодок через заминированный Финский залив в Балтику, их торпедные атаки. Но это не военная хроника – острый драматизм событий не заслоняет людей. Живые характеры, непростые судьбы, соперничество в любви.

Сюжетное напряжение не ослабевает в послевоенное время. Перестройка, реформы, крах советской системы – герои романа по-разному относятся к этим судьбоносным событиям. Споры, расхождение во взглядах – все очень непросто. Но выше всего этого – фронтовое морское братство.

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	48
Глава третья	95
Глава четвертая	129
Глава пятая	221
Глава шестая	254
Глава седьмая	286
Конец ознакомительного фрагмента.	302

Евгений Львович Войскунский

Балтийская сага

…И даже тем, кто все хотел бы сгладить
В зеркальной, робкой памяти людей,
Не дам забыть, как падал ленинградец
На желтый снег пустынных площадей.

О. Берггольц

…Великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей.

А. Герцен

© Е.Л. Войскунский, 2018
© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2018

* * *

Глава первая
От судеб защиты нет

Вадиму было четырнадцать, когда его отец Лев Плещеев ушел из семьи. С ума, что ли, сошли? Так хорошо жили, большой семьей, и еще был жив дед, инженер-кораблестроитель Иван Теодорович Регель, мамин папа, человек с квадратной рыже-седой бородой и голубыми глазами.

К деду в выходные дни приходили играть в преферанс его друзья, тоже корабелы. Мама, Вера Ивановна, звала пить чай. Корабелы с шуточками рассаживались за старинным столом с фигурными ножками. Один из гостей, Котов, над которым посмеивались за то, что он носил суконные боты «прощай, молодость», рассказывал о своем детстве в деревне.

– Папаша у меня, – говорил он глуховатым голосом, – был, звольте-деть, свирепый мужик с пудовыми кулаками. Чуть что не по нем – такой даст подзатыльник, что вылетишь через сени во двор и в плетень врежешься. Да-а, – рассказывал Котов, мелкими глотками отпивая чай, – руки у папаши тяжелые, нрав бешеный, а вот, звольте-деть, сподобился мне образование дать. Сам отвез в Боровичи, уездный город, там старшая дочь, моя сестра, значит, жила, замужем за пожарным. Да-а. Ну, реальное училище и так далее – до корабле-

строительного факультета питерского политеха.

– Борис Кузьмич, – спрашивал Лев Плещеев, отец Вадима, – а верно, что вы дружили с Евгением Замятиным?

– Ну уж, дружил! – отвечал Котов. – Взирал с почтением. Он, звольте-деть, был старше на пять лет.

Вступал в разговор, посмеиваясь, дед Иван Теодорович.

– Замятин окончил политех на два года раньше меня и преподавал по кафедре корабельной архитектуры. Уже война шла, я на Балтийском заводе работал, и однажды заявился к нам Замятин по какому-то делу. Поздоровались мы, и я спрашиваю: «Евгений Иванович, у вас в рассказе “Алатырь” почтмейстер-князь рассуждает, что эсперанто объединит весь мир и настанет всеобщая любовь. Он, этот князь, вами придуман или с натуры взят?» Замятин, хе-хе, посмотрел на меня иронически и говорит: «Голубчик, я забыл логарифмическую линейку, будьте любезны, дайте мне свою на полчасика».

И заговорили они, корабелы, о Замятине горячо. Одни осуждали за то, что покинул Россию, другие выражали понимание: мол, писателю нужна свобода… полноте, сударь, никто ему не мешал… да как же не мешали? После «Уездного» ничего крупного не написал… Да-а, «Уездное»… звольте-деть, его Анфим Барыба в точь был, как у нас в уезде урядник… такая же страшная фигура-с… ну да, еще бы – воскресшая русская каменная баба… беспощадный каратель…

– Борис Кузьмич, – остро глядел сквозь очки на Котова

отец Вадима, – я бы хотел написать очерк о вас для «Ленправды».

– Чего вдруг? – медленно удивился Котов.

– Вы, Борис Кузьмич, прямо-таки воплощение человека из низов, которого советская власть…

– Полноте, сударь. Я, конечно, от ворон отстал, но к павам не пристал-с.

– Да какие павы? Их нет давно.

– Прежних нет, а новые появились. Не надо никаких очерков.

Когда корабелы, закончив преферансную пульку, разошлись по домам, Вадим слышал, как дед сказал папе:

– Лева, не приставай к Котову. Его проект засекречен, цензура не пропустит статью о нем.

(Лишь годы спустя Вадим узнал, что дядя Котов, человек с незаметным «простонародным» лицом, небрежно одетый, в старомодных суконных ботах, был одним из конструкторов первых советских сторожевиков. Целый дивизион этих кораблей скатился со стапелей на балтийскую воду – «Ураган», «Снег», «Буря», «Тайфун» и другие, тоже с неприятными названиями. Прозвали их на флоте «дивизионом хреновой погоды» – вообще-то не «хреновой», а иначе.)

Лев Плещеев, сын уездного землемера из Олонца, гимназию окончил в Петрограде в шестнадцатом году и, по его словам, «кинулся в революцию». Нет, шашкой не махал, не мчался в конной лаве на беляков, но повторял полюбивши-

еся строки Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Да и сам с молодых лет сочинял стихи, потом на прозу перешел. Слог у Льва был, как тогда требовала жизнь, вздыбленная революцией, возвышенный, исполненный патетики, – его очерки стали печатать в «Красной газете». Так оно и пошло – Лев Плещеев сделался в Петрограде – Ленинграде заметным журналистом.

Но главным событием своей жизни он считал именно *кронштадтский лед*. В памятном двадцать первом году учился Плещеев на морских командных курсах. В марте вспыхнул в Кронштадте мятеж, несознательная матросня, клёшники, поддались антисоветской агитации бывшего царского генерала, ну и, конечно, анархисты и эсеры там устроили бузу. Пришлось стягивать на северный берег, к Сестрорецку, и на южный, в Ораниенбаум, верные советской власти войска. На ультиматум, подписанный самим предреввоенсовета республики Троцким, мятежники, наглости набравшись, не ответили. Командарм 7-й армии Тухачевский отдал приказ о взятии Кронштадтской крепости штурмом.

Группа курсантов, в их числе и Плещеев, в составе сводного полка в ночь на 8 марта сошла с южного берега на лед и двинулась к Кронштадту. Идти было трудно, лед сверху подтаял, под ногами хлюпала вода, курсанты оскользались, тихо матерились. Как ночные привидения, брели в белых ха-

латах, надетых для маскировки. Однако дозоры мятежников разглядели их. Заметались прожекторные лучи. И началось такое…

Кронштадт бил тяжелыми орудиями (два линкора же там взбунтовались), разрывы снарядов буравили лед, выбрасывая гигантские фонтаны дыма, огня и воды, небо рвалось и грохотало, пульсировало багровыми вспышками – да нет, невозможно пройти – к чертовой матери…

Плещеев потерял себя. Да и не он один. Повернул и, пригнувшись, пустился бежать назад, к южному берегу, к спасению…

Какое там!.. Размахивая наганом, встала, освещенная прожектором, огромная фигура в белом, черные усищи поперек красного лица.

– Куда-а, так вашу мать!! – заорал ротный, покрывая грохот разрыва. – Застрелю, так вашу пушку-бляшку-р-растакую…

Опомнился Плещеев – ну красный же боец, – пересилил себя, побрел сквозь огонь на крепость Кронштадт…

Нет, не прошел в ту ночь сводный полк, только-только зацепился за берег Котлина, две роты потерял – отступил. Шедший левее 561-й стрелковый полк тоже не прошел, и говорили, что один его батальон передался мятежникам. Части северной группы, наступавшие с Лисьего Носа, тоже не имели, как говорится, успеха. Да какой там успех, если в Кронштадте пушек, как у ежа иголок, – разве подступишься?

Прибыло в Ораниенбаум пополнение – свежая 27-я дивизия, так в трех ее полках бойцы замитинговали – «не пойдем на лед!» «Самого» товарища Дыбенко отказались слушать, как он стал кричать и совестить их. Конечно, по революционной строгости, их разоружили, арестовали зачинщиков – ну как положено.

Но мятеж-то подавить надо. Красная Горка, переименованная в форт Краснофлотский, ударила по Кронштадту. Вступили и другие тяжелые орудия, подвезенные на северный и южный берега. Аэропланы полетели, сбросили тысячи фунтов бомб, норовили в линкоры попасть – «Петропавловск» и «Севастополь». Кронштадт, конечно, отвечал тяжеловесным огнем.

А красный боец курсант Лев Плещеев, вы поймите правильно, был сам не свой: не мог себе простить, что струсил там, на льду. Стыд и позор! – корил Лев себя, с головой накрывшись жидким одеялом в нетопленой казарме в Ораниенбауме, в Военном переулке. Вот крикнуть бы сейчас: «Товарищи бойцы! Друзья-курсанты! Перестаньте храпеть… взгляните на меня… Мечтал в пламенные герои… ну как же, “выросли мы в пламени, в пороховом дыму”.. а получилось – “бежал Гарун быстрее лани…” Но послушайте, братья! Никогда, никогда больше не повторится, чтоб я, Лев Плещеев, повернул вспять и побежал с поля боя… Никогда!»

И верно: в ночь на 17 марта, когда снова пошли на штурм

красные полки, он, Лев Плещеев, шел по льду наравне со всеми, можно сказать, призраками в белых халатах, шел сквозь прожекторный свет, сквозь огонь, обходя воронки – полыньи с черной водой. А воды было на льду с пол-аршина, почти по колено, оттепель же, страшное дело… Падали, сраженные осколками снарядов, в воду… Но те, в кого не попали, шли и шли врассыпную… В обход форта, как его, «Милютин»… Вот из тумана проявился темный котлинский берег, дома, трубы, а левее что-то горело.

Ноги не шли, усталость страшная… А с берега – уже и пулеметный огонь… «Вперед, вперед!» – дико орет кто-то… Да уж, не назад же… Кто назад повернет, тот на цепь заградотряда нарвется, и привет… «Вперед! Даешь Кронштадт!»

Под утро уцелевшие бойцы Южгруппы прорвались в Кронштадт. Долго бились у пристаней. Еще помнил Плещеев, как в конце дня заняли водокачку.

Сам не свой был красный боец Лев Плещеев – не только от страшной усталости, но и от подавленного внутри себя страха. Перебежками продвигались по какому-то переулку. Из двух неосвещенных окон били из винтовок. Плещеев залег в яму, среди вывороченных разрывом снаряда булыжников, и стрелял в те окна, пока в подсумке не осталась последняя обойма. Но и оттуда, из окон, огонь редел. Грязный мокрый маскхалат Лев давно сбросил. Бушлат тоже был мокрый насквозь – весь он, красный боец Плещеев, состоял из мокрых костей и голодного ледяного нутра́. И сил никаких уже не

было, вот заснуть бы в этой чертовой луже…

– Пошли! – крикнул рябой Карпухин, командир отделения. – В тот подъезд! – и ткнул Плещеева прикладом в плечо. – А ну, подымайся, лохматый!

Втроем – Карпухин, Плещеев и молодой курносый боец, беспрерывно сплевывающий, – поднялись по темной лестнице, по скрипучим ступенькам, на второй этаж, вышибли дверь и вошли в квартиру. И тут было темно, электрическая станция не давала света, только в кухне слабо светилось.

Ворвались в кухню. Там женщина в сером, нагнувшись, бросала поленья в горевшую плиту; ребенок, босой, одетый тоже во что-то серое, держался за длинную ее юбку и тоненько пищал, скулил.

– Кто тут стрелял?! – свирепо заорал Карпухин.

– Что ты, что ты, никто не стрелял, – быстро заговорила женщина. У нее голова была повязана старушечьим темным платком, но лицо молодое, глаза испуганные. – Что ты, солдатик, как можно… никто не стрелял…

– Карпухин, сюда посвети! – Плещеев разглядел винтовочные стреляные гильзы в углу. Было похоже, что гильзы впопыхах затолкали под комод, но две штуки не успели, что ли, запихнуть.

– Ну точно! – гаркнул отделенный. – И воняет порохом.

Ворвались в комнату, заставленную темной мебелью. На кровати сидела старуха, по виду ведьма: нос крючком, глазищи недобрые. На другой кровати кто-то спал, завернувшись

с головой в одеяло с синей полосой в ногах.

– А это кто? – Карпухин поставил лампу на стол и ткнул спящего в плечо. – А ну, вставай!

– Не трожьте его, – прошамкала старуха, – он больной… старый… заразный он…

Карпухин тряс спящего:

– Больной, не больной, один хер, вставай!

Курносый боец откинул одеяло там, где ноги спящего, – ноги были обуты в короткие сапоги. Карпухин сдернул одеяло, заорал:

– Вставай, гребаный!

Спящий – никакой не спящий он был – медленно сел на кровати. И никаким не был стариком – ну, лет сорока, крепкий мужичок с желтой встрепанной волосней и усами. В мятом темно-сером пиджаке. Исподлобья глянул на Карпухина.

А тот – неистово:

– Ты стрелял из окошка?!

Из-под желтых усов – хриплое:

– Нет.

– А почему одетый-обутый под одеялом? – Карпухин вдруг схватил мужичка за руку: – Вот! – У мужичка между большим и указательным пальцами была наколка – синий якорек. – Вот! – орал Карпухин. – Клёшник, так твою мать! Куда винт упрятал?!

Дернул желтоусого за руку, тот вскочил, оказавшись чуть не двухметрового роста, – в следующий миг Карпухин отле-

тел от удара в лицо – повалился на колени старухи-ведьмы, та – в крик, и молодуха в дверях – в крик, а желтоусый выкрикнул: «Сволочи! Революцию загубили, гады!» – и кинулся к двери, но курносый боец, живо вскинув винтовку, выстрелил, и Карпухин стрельнул из своей. Мужичок коротко застонал и рухнул ничком у ног молодухи.

– А-а-а-а!.. – завопила она, упав на колени над дернувшимся и замершим телом. Босой ребенок рядом с ней визжал, широко разевая рот.

Карпухин, с разбитым до крови рябым лицом, оттолкнул женщину и перевернул мужичка на спину. Тот лежал без дыхания, без жизни, в мятом пиджаке, из ворота которого виднелась матросская тельняшка.

– Все, – сказал Карпухин. – Приказ был, кто с оружием, тех в плен не брать, а на месте… Пошли! – скомандовал он.

Курносый боец сплюнул и двинулся за ним. Пошел и Плещеев, еле передвигая ноги, словно схваченные ужасом.

Бальмонт был виноват. Да, тот самый Константин Бальмонт, символист знаменитый.

На курсах была библиотека, небольшая, из случайных книг, вывезенных из буржуйских домов. Такая блажь пришла в голову начальнику курсов: мол, пусть курсанты, будущие командиры Красного флота, читают не только наставления по морскому делу, но и книжки – ну, конечно, такие, в которых нету контрреволюции. За библиотекой присмат-

ривала, выдавала книжки курсантам девица Вера. Тихая, голос тонкий, а еще тоньше – талия, вокруг которой, наверно, можно было сомкнуть пальцы двух рук. Черная челочка ниспадала на огромные, в пол-лица, глаза, а в глазах такая разлита голубизна, какая в петроградском небе бывала только на Пасху (само собой, в старое время).

Курсант Лев Плещеев и утонул в этих голубых озерах, в глубине которых мерцало что-то такое… непонятное… Он и вообще-то имел пристрастие к чтению книжек, и особенно – к стихам. А тут еще и голубоглазая дева, будто сошедшая со старых рождественских открыток (были такие у плещеевской богомольной мамы – там, в Олонце). Говорили промеж себя курсанты, что эта Вера с немецкой фамилией Регель была дочерью корабельного инженера с Балтийского завода, на котором прежде работал слесарем-сборщиком товарищ Акимов, ныне начальник курсов. И вроде бы папа ее, Регель, сидел, понятное дело, в Чека. Но кто-то из новой власти (да не сам ли Акимов?) поручился за него, что он не эксплуататор трудового народа, и спас от неминуемого расстрела.

Так ли, нет ли, а Лев Плещеев в юную деву Веру влюбился с первого взгляда. Женская красота на него сильно действовала, – еще учась в гимназии, он это понял. А тут к тому же Бальмонт…

Надо сказать, что у папы Плещеева, олонецкого землемера, стояли на полке книжки, не только относящиеся к его

земельной профессии, но и сочинения Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Стоял, между прочим, и томик Плещеева Алексея Николаевича, – нет, родства между ним, дворянином, хоть и опальным, и разночинцем-землемером не было никакого, просто однофамильцы (хотя, допускал землемер, что кто-то из предков мог быть крепостным у предков поэта, а ведь крепостным, бывало, давали фамилию барина). После Некрасова и Кольцова был Алексей Плещеев любимым поэтом олонецкого землемера. «Вперед без страха и сомненья», – часто напевал он плещеевское стихотворение, считая его (и, вероятно, справедливо) марсельезой поколения петрашевцев.

От папаши, верно, и унаследовал Лев Плещеев любовь к русской поэзии. А тут, на курсах, в тесной библиотеке, высмотрел он книжку стихов «Будем как солнце» Константина Бальмонта и принял ее из маленьких рук голубоглазой девы как дар своенравной судьбы.

Надо сказать, что и она, Вера Регель, обратила внимание на этого курсанта с давно не стриженной рыжеватой гривой, с правильными чертами юного лица, несколько подпорченными восторженным выражением карих глаз. В комнатке, заставленной книжными полками, сидела Вера за столиком, какие в буржуйских домах называли ломберными, и с неясной улыбкой на розовых губах слушала, как этот курсант пылко говорил:

– В великое время живем, товарищ Вера! Перестройка

всей жизни идет.

– Вы правы, товарищ курсант, – тонким голоском отвечала дева. – Только вот – печки нечем топить. Как бы не замерзнуть.

– Не замерзнем! Новую жизнь построим, и дров будет – сколько захочешь.

– Мне много не надо…

– Все леса на планете будут наши, да! – и, прикрыв пылающие глаза, декламировал странный курсант Плещеев:

Так-то, темный лес,
Богатырь Бова́!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная…

– Откуда это? – интересовалась Вера.

– Кольцов это! Какой поэт! А вот из книжки «Будем как солнце» Ба́льмонта…

– Бальмо́нта, – поправила Вера.

– Да? – Ну пускай Бальмо́нт. – и, прикрыв глаза, шпарил Плещеев наизусть:

Ты мне понравилась так сразу оттого,
Что ты так девственно-стыдлива и прекрасна,
Но за стыдливостью, и сдержанно и страстно,
Коснулось что-то сердца твоего…

– Ну и память у вас, курсант Плещеев, – улыбалась Вера.

А он, поощренный, еще охотней свою память, и впрямь удивительную, выказывал:

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми.
Ты один мне понравился между людьми.
До тебя я была холодна и бледна.
Я с глубокого, тихого, темного дна…

Тут прервал их интересную беседу курсант Лысенков – втиснулся книжки поменять. Помигал на Плещеева и уставился, как некто на новые ворота, на книжную полку. Вера помогла ему, неторопливому, выбрать книжку для чтения: «Похождения Рокамболя».

– Это очень интересно, – сказала. – Про разбойника французского. Записать вам?

Лысенков пожал могучими плечами, попытался прочесть фамилию автора: Понсон дю Те…

– Дю Террайль, – подсказала Вера. И, когда Лысенков наконец выбрался из узкой двери вон, спросила: – Ну и что же та русалка с тихого дна?

Шел холодный октябрь двадцатого года. Петроград, похоже, погружался в зиму, минуя осенние месяцы. С вечно темного, навалившегося на городские крыши неба сыпался ранний снег – днем таял, по ночам подсыпáл опять. Почти не утихал резкий ветер, бороздя и возмущая Неву угрозой наводнения. Рано темнело, и были перебои с электричеством. Останавливались трамваи, всегда переполненные, обвешанные пассажирами.

Вере трамваи не требовались: от 4-й линии Васильевского острова, где она квартировала с родителями, до 11-й линии, где помещались курсы, можно было и пешком. В один из октябрьских вечеров, когда Вера возвращалась с работы, на углу Большого проспекта и 8-й линии на нее напали двое, она побежала с криком о помощи, но улицы были пустынны, те двое, матерясь страшно, догнали ее и отняли старую оконную раму, которую она несла для топки. (Эту раму, найденную на чердаке, ей Плещеев принес в библиотеку.)

С того вечера Вера – в те дни, когда приходила на работу, – оставалась ночевать в библиотеке: устроила там на деревянном диванчике лежанку. Из дому принесла подушку и мягкий коричнево-клетчатый плед.

– Папа категорически запретил выходить вечером на улицу, – сказала она Плещееву.

– Правильно, – кивнул тот. – Ничего хорошего там нет, на улице. В тот вечер не было электричества. Вера зажгла керосиновую лампу. За окошком посвистывал ветер, швырял

в темное стекло пригоршни снега.

– Говорят, в Питер к Горькому приезжал английский писатель, – сказал Плещеев, засидевшийся, как обычно, в библиотеке. – Ты слышала?

– Да, – сказала Вера. – Слышала. Завтра придется пойти в Черезъутоп, просить, чтоб дрова выдали.

– Пусть отец сходит. Там очереди огромные.

– Папа заболел. И мама еле ходит. Еще ни разу дров не выдали этой осенью. Совсем с ума сошли там.

Она взмахнула рукой в сторону окошка. Плещееву вдруг ужасно захотелось поймать эту маленькую руку – поймать и не отпускать. Большеглазая девушка в синем вязаном жакете, сидевшая перед ним, отбрасывавшая странно мятущуюся тень от лампы на книжные полки, притягивала его, как север притягивает компасную стрелку. Лампа горела неровно, что-то в ней потрескивало.

Плещеев читал наизусть:

Я был желанен ей. Она меня влекла,
Испанка стройная с горящими глазами…

Метался огонек в лампе от его пылкой, нараспев, декламации. Он читал:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,

Хочу одежды с тебя сорвать!..

Вера вдруг встала и подошла к Плещееву, вплотную. Он вопрошающе заглянул в глаза-озера, в глубине которых мерцало что-то непонятное.

– Хочешь быть смелым, – быстро сказала Вера, – так будь…

Опыта таких отношений у Плещеева не было (если не считать единственного, в Олонце, случая, когда великовозрастная девица, помощница отца по землемерному делу, затащила его, пятнадцатилетнего гимназиста, на сеновал). Не было и у Веры – вовсе. Но то, что произошло в тот октябрьский поздний вечер на деревянном диване, при колеблющемся полусвете керосиновой лампы, стало началом их супружеских отношений.

Тут следует пояснить, что родители Веры – особенно Иван Теодорович, происходивший из старого рода остзейских немцев, – настаивали на закреплении оных отношений, а именно на регистрации брака. Когда же Плещеев обратился к начальнику курсов за разрешением на женитьбу, тот удивленно поднял брови:

– Да какая такая женитьба, товарищ курсант? Не старое время ноне. Свободная пролетарская любовь ноне.

И сослался товарищ Акимов на полезную в этом смысле книжку руководящей пролетарской женщины Коллонтай «Новая мораль и рабочий класс». В библиотеке курсов та-

кой книжки не имелось, но смысл ее и так был понятен. Новая мораль – она и есть новая. Хотя Ивану Теодоровичу она не нравилась. Впрочем, у него и поэт Бальмонт был не в чести. (Иван Теодорович, если хотите знать, больше всех любил Шиллера.)

А зима надвинулась холодная и голодная. Хотя и кончилась война (на юге скинули Врангеля в Черное море, на западе – чуть было до Варшавы не доехали), недаром же песня сложилась про то, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», – кончилась, кончилась война наконец-то, а в Петрограде зима шла неспокойная. Паек сре́зали до полутора фунтов хлеба. И продолжали стоять на дорогах заградительные отряды, – у тех, кто вез в Питер из деревни какое-никакое продовольствие, отнимали мешки по революционному декрету.

И другое дело, большое недовольство вызывал Черезъутоп, то есть управление чрезвычайного уполномоченного по топливу. Если в прежнее время дров всегда хватало, на Сенной площади деньги заплатишь – тебе в тот же день привезут сколько хочешь, хоть целый воз, то теперь они, дрова, неизвестно куда подевались. Распределяли их люди хмурые и грубые, выдачи были скудные, и очень они трепали нервы обывателям. Однажды в ноябре (еще в те дни не встала Нева) объявили выгрузку дров с барок, тысячи людей работали с утра дотемна на пристанях. Работал на разгрузке и Иван Теодорович. В тот безумный день, пронизанный ле-

дяным норд-остом, он, видно, и подхватил сыпнотифозную вошь. И свалился с сыпняком, – такая получилась страшная плата за разгрузку барки.

Иван Теодорович выжил: крепкий был мужчина, основательный. Но слегла его заботливая жена Полина Егоровна, и уж ее, ослабленную недоеданием и вообще трудной жизнью, сыпной тиф доконал. Перед кончиной она, глядя на Плещеева угасающими глазами, прошептала: «Веру спасите…»

Нет, Вера не заразилась, не заболела. Откуда в ней, тростиночке, столько обнаружилось жизненной силы? Бог весть. Иван Теодорович, страшно исхудавший, пытался помочь дочери. Тонким своим голосом Вера командовала: «Папа, ложись и лежи. Я сама». Растапливала буржуйку – чугунное чудо в середине комнаты (после уплотнения в девятнадцатом году им, Регелям, из четырех комнат оставили одну, правда, большую, бывшую залу с лепными гирляндами по углам потолка), варила пшенную кашу, черный чечевичный суп. Молола в кофейной мельнице сушеные картофельные очистки – заваривала их вместо исчезнувшего колониального продукта чая. В очередях стояла за пайком – хлебом, крупой и селедкой.

А что Плещеев? Конечно же, как только получал увольнение, он мчался, быстроногий, на Четвертую линию, к Веруне (так называл он свою ненаглядную). Каждый раз приносил то пару поленьев, то обломок доски, а то – горбушку черняшки или не съеденную за обедом вареную воблу, завернутую в

«Красную газету». Между прочим, в этой газете дважды уже напечатали его заметки. В них Плещеев не просто описывал, как учатся на курсах будущие командиры Красного флота, а выражал безусловную уверенность в победе коммунизма над разрухой и другими временными трудностями жизни и, конечно, над мировой буржуазией и прочими классовыми врагами. Умел Плещеев находить нужные слова для повышения революционного духа у читателей-обывателей.

Тревожная зима и курсантов подняла по тревоге. В феврале на многих заводах Петрограда начались забастовки. Рабочие на митингах требовали – от своей, можно сказать, пролетарской власти – прекратить уменьшение выдачи хлеба. Да и не только хлеба – требовали свободной торговли, свободного перехода с завода на завод. На Трубочном заводе, что на Васильевском острове, кроме пайкового вопроса вписали в резолюцию требование *перехода к народовластию*. Это как понимать, товарищи?! Исполком Петросовета постановил закрыть завод и начать там проверку. Утром 24 февраля трубочники вышли на улицу. К ним стали прибиваться рабочие с других заводов, – огромная толпа собралась на Васильевском острове на митинг, не предусмотренный властью. Это что ж такое?! Разогнать крикунов! А кого – на разгон? В гарнизоне тоже недовольство, замечено, что красноармейцы ходят по домам, предлагают что-то обменять на хлеб. Были случаи отказа от нарядов из-за отсутствия обуви, теплого обмундирования. Ну, у красных курсантов с пайком получше,

и сапоги не драные, – поднять их по тревоге!

А как ощущал себя Плещеев, медленно надвигаясь в цепи курсантов, с винтовкой наперевес, на толпу недовольных, рассерженных людей? *Странно* было Плещееву. Неуютно как-то. Не на буржуазию шли они, курсанты, угрожая расстрелом. Не на белогвардейцев, не на врагов рабочего класса, – именно на рабочий класс и надвигалась цепь красных бойцов… Черная (в бушлатах) шеренга на слитную серую массу… Только бы не скомандовали открыть огонь по братьям по классу… Кто-то зычно кричал в рупор: «Разойтись! Разойтись!»

Уж и то хорошо, что обошлось без крови. Медленно, неохотно расходились бастующие. В тот же день на экстренном заседании Петроградского комитета РКП(б) волнения на заводах были объявлены мятежом. А на следующий день, 25 февраля, ввели в городе военное положение. Покатилась волна арестов.

В Петрограде аукнулось – откликнулось в Кронштадте…

Вадим родился в октябре того же страшного двадцать первого года. Роды были трудные. Если б не гинеколог Розалия Абрамовна, соседка со второго этажа, то, может, Вера не выжила бы. Рожала она дома. За стеной шла гулянка у Покатиловых, орали там пьяными голосами: «Как родная меня мать провожа-ала, тут и вся моя родня набе-жа-ала…». Под эту лихую песнь и вытащила соседка-доктор Веру с того света. С

еле слышным стоном роженица открыла закатившиеся было глаза, и Лев Плещеев бросился на колени – целовать свою Веруню, – но Розалия Абрамовна твердой рукой отстранила его: «Отойдите! Дайте ей отдышаться!» Из-за стены гремело: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!» И проистекал оттуда душный чад жареной гусятины…

Так он, значит, и появился на свет – Вадим Плещеев. Детство его совпало с нэповским временем: Ленинград ожил, откуда ни возьмись появились за отмытыми от долгой войны витринами розовые языки ветчины, желтенькие волны французских булок. Сосед Покатилов, в пьяном виде склонный к шумному умилению, открыл торговлю туалетным мылом и зубным порошком. И вот еще важные приметы наступившего времени: сворачивал свою пугающую (и стреляющую) деятельность Комдезертир (то есть комитет по борьбе с дезертирством), и были, ну это как вздох облегчения, сняты с дорог и железнодорожных станций заградительные отряды.

Жизнь налаживалась. На Балтийском судостроительном заводе снова затрещали давно умолкнувшие клепальные пневматические молотки. Крупные корабли страна, разоренная войной, еще не тянула, куда там, молотков пневматических – и тех на заводе всего пять штук, по одному винторезному и сверлильному станку, да и прочее оборудование, если и уцелело, то «процент годности» был никудышный. Иван Теодорович Регель, строитель кораблей, мотался

по новым ведомствам, выбивал для завода лимиты электроэнергии, листовое железо, инструменты, – много тратил сил на преодоление некомпетентности, бюрократизма, а порой и хамства новоявленных начальников этих ведомств. Было время, он, выпускник политеха, увлеченно работал младшим помощником строителя линкора «Петропавловск». Теперь другое время настало. Истрепанный войной и разрухой флот – уцелевшие корабли – надо было капитально ремонтировать. Вот эскадренные миноносцы типа «Новик» – правильное принято решение об их ремонте, можно вытащить былых быстроходных красавцев с мертв ых стоянок, новую вдохнуть жизнь в их ржавые корпуса. А дальше – внимание, внимание! – появился проект первенца советского кораблестроения – сторожевика «Ураган». С него-то и началось создание дивизиона хреновой (или как ее) погоды. «Новики», можно сказать, и не мечтали о такой энергетической установке, какой оснастили новые сторожевики: из двух котлов и двух турбозубчатых агрегатов.

То было начало звездного времени для советских корабелов. Иван Теодорович работал поистине с юношеским увлечением. Его голубые глаза, омертвевшие после смерти жены, снова наполнились жизнью. Он отрастил рыжую бородку. По вечерам у себя в комнате (в большой зале поставили перегородку, в одной комнате жили Плещеевы, во второй Иван Теодорович) он обдумывал какое-то новшество, рассчитывал, чертил. И вот однажды, с согласия конструктора, он на

строящемся «Урагане» применил вместо обычной клёпки – сварку. Не удивляйтесь: во всем мире на стапелях тарахтели пневматические молотки, части корабельного набора соединяли заклепками. А тут, ниспровергая основы, рассыпала огненные искры сварка автогеном: приварили одну из палубных конструкций. Как раз в эти минуты поднялся на палубу командир будущего дивизиона, моряк бывалый и дотошный. «Эт-то что такое?» – сильно удивился он. «Новшество, – сказал строитель Регель. – Сварка вместо клёпки». «Да вы что, смеетесь? Я ваше новшество ногой собью!» Иван Теодорович не успел его удержать. Командир дивизиона ударил ногой по свежесваренной конструкции – и заплясал от боли. С его ботинка слетела подметка…

Ворочал Иван Теодорович в толковой своей голове и другие идеи. А по субботним вечерам собиралась у него в комнатке теплая компания друзей-корабелов. Играли в умственную игру преферанс, пили чай, а то и портвейн, шутили, вспоминали былые времена.

Но жизнь, в которой плыли они, как в недостроенном корабле, опять наполнилась непредсказуемостью и тревогой. Куда-то подевалась советская дозволенная буржуазия – закрывались нэпманские лавки и рынки, снова возникла нехватка продуктов. Зато в двадцать девятом году появились карточки. Сосед по квартире Покатилов, распродав по дешевке весь зубной порошок, бессознательно пил три недели, а потом, опохмелившись чем-то едким, пошел туда, откуда

и вышел, – в слесари-водопроводчики домоуправления.

После убийства Кирова в декабре тридцать четвертого покатилась по Ленинграду новая волна арестов. Докатилась и до Балтийского завода. В одну из длинных февральских ночей взяли Котова Бориса Кузьмича. Игры в преферанс у Ивана Теодоровича прекратились. Он помрачнел, осунулся. Уже не с прежним тщанием подстригал квадратную седеющую бородку. За вечерним чаем, если Вера спрашивала, как идут дела на заводе, Иван Теодорович отвечал неохотно и коротко: «Работаем. Клепаем». Иногда обращался к зятю: «Что нового в мире, Лева? В Греции что, опять военный переворот?» Плещеев отвечал развернуто, но Иван Теодорович слушал без интереса. Допивал чай, говорил: «Спасибо, Верочка», – и уходил к себе.

А однажды попросил дочку уложить в небольшой чемодан «минимум необходимого».

– Что ты имеешь в виду? – встревожилась Вера.

– Ну, теплые носки, три смены белья, зубную щетку…

– Папа! – вскричала Вера. – Что у вас происходит на заводе?

– То же, что и во всем городе, – ответил Иван Теодорович. И, слегка усмехнувшись, добавил: – От судеб защиты нет.

Вот уж точно это сказано классиком. Наверное, ОГПУ занесло уже инженера Регеля в свои черные списки, но судьба – да, да, именно она – распорядилась иначе.

Темным октябрьским утром Иван Теодорович включил

переносную лампу и, волоча ее на длинном шнуре, полез через узкую горловину в междудонье строящегося судна. Грызло его беспокойство, что в днищевом наборе что-то неправильно сварено. Он полз, метр за метром, сквозь узкие лазы, светя на вырезы переноской – и вдруг переноска погасла. Черт знает почему. Может, там, на палубе, кто-то случайно выдернул вилку. Иван Теодорович, с трудом развернувшись, пополз назад, но воротником ватника на затылке зацепился за что-то – за стальные заусенцы, должно быть. Попытался освободиться, но зацепился еще и хлястиком. Тут покрашено было недавно, от острого запаха краски голова разламывалась. Он барахтался в дикой тесноте. Междудонье держало крепко. Кричать не было смысла: никто не услышит, наверху грохотали клепальные молотки. Освободить ватник либо выпростаться из него Иван Теодорович не сумел – потерял силы, задохнулся. Когда его спустя два часа вытащили из междудонья, было уже поздно.

А что Лев Плещеев?

А вот что. Вскоре после подавления кронштадтского мятежа ушел он с морских курсов. Сам товарищ Зиновьев, предводитель ленинградских большевиков, санкционировал переход способного молодого журналиста в «Красную газету». Своими пылкими карими глазами Плещеев всматривался в новую жизнь, ища в ней, по его словам, животрепещущий материал. С годами он сделался видным очеркистом «Ленинградской правды», издал две книги очерков (од-

на – об ударном строительстве Хибиногорского комбината) и вступил в РАПП, а впоследствии в Союз советских писателей.

Его первая книга открывалась большим очерком «Даешь Кронштадт!», в котором было много революционной патетики, описаний героизма красных бойцов и много презрения к мятежникам (и особенно – к вожакам мятежа, удравшим по льду в Финляндию и избежавшим заслуженной кары).

Ярко лег на бумагу этот очерк, и не будет преувеличением упомянуть, что его автор Лев Плещеев приобрел в Ленинграде репутацию героя исторического штурма. Он любил повторять фразу из поэмы поэта Багрицкого «Смерть пионерки», напечатанной в журнале «Красная новь»: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед».

Да, любил поэзию журналист (а потом и писатель-документалист) Лев Плещеев. Нельзя, однако, обойти стороной *одно обстоятельство*. Болезненно отдавалось в памяти, как при первом – неудачном – штурме он, Лев Плещеев, постыдно струсил на льду под огнем кронштадтских пушек, в перебегающих лучах прожекторов, – да, струсил и побежал назад, но был остановлен и едва не расстрелян ротным командиром. Дал себе слово Плещеев, что никогда – никогда! – такое малодушие не повторится. И слово держал. Даже когда поехал в трид цатом году в область описывать сплошную коллективизацию и вместе с провожатым милиционером по-

пал под кулацкий обстрел на выходе из одной деревни, даже тогда он не позволил себе *впасть в трусость* и побежать в укрытие – ближайший сарай. Просто упал ничком на сырую после дождя землю и лежал, прикрыв голову руками, пока милиционер отстреливался из нагана.

Во время той поездки навестил Лев Плещеев в Олонце своих родителей. У них были неприятности в ходе жизни. Мама, Софья Ивановна, потрясенная закрытием церкви, слегла совсем больная: у нее руки дрожали и голова мелко тряслась. Сам же Василий Евтропович Плещеев имел сильные расхождения по вопросу коллективизации с председателем волисполкома, человеком хоть и заслуженным в Гражданской войне, но малограмотным и крайне грубым.

– Выучил одну фразу: «Я творю волю партии» и твердит ее, как попка-дурак, – говорил старший Плещеев сыну, когда после обеда, выпив по стакану самогона, вышли они покурить на поросший ивняком берег реки Олонки. – Я ему толкую: нельзя отрывать от земли Шестаковых и Черновых, никакие они не кулаки, а трудовые земледельцы. А он бухает кулаком по столу, глаза навыкате, и орет: «Творю волю партии! Классовым врагам нет пощады…» Что же это творится, Лёв Васильич?

Так он сына называл: «Лёв Васильич». А что же мог отцу ответить Лёв Васильич? Хоть и был он видным к тому времени журналистом, но не мог же заступиться за классового врага кулака. Его другое беспокоило: отец заметно сдал. *Го-*

лос потерял Василий Евтропыч. Сутулясь больше обычного, осипшим, лишенным звука голосом рассказывал о неприятностях текущего момента.

– Послушай, отец, – прервал Лев его напряженный шепот, – тебя надо врачу показать. Давай-ка я повезу тебя в Питер.

– Чего я там не видел, – просипел землемер. – Как я мать тут оставлю?

– Тетя Таня за мамой присмотрит. А ты поживешь у меня…

– Не поеду. Дай-ка еще папиросу. У нас «Казбек» не бывает.

– Да на одну неделю всего, – уговаривал Лев. – Отец, надо хорошему врачу показаться. Прошу, не упрямься.

Но землемер Плещеев наотрез отказался ехать в Ленинград.

Дед Василий умер от рака горла летом тридцать второго года.

А осенью тридцать пятого умер – задохнулся в междудонье строящегося корабля – другой мой дед, Иван Теодорович.

Накануне, в сентябре того же тридцать пятого, от нас с мамой ушел отец. Точнее: мама его прогнала. Трудно мне дается это воспоминание…

Знаете, я гордился отцом. Он был в Питере в некотором

роде знаменитостью. Ну как же, герой штурма мятежного Кронштадта. Рыцарь карандаша и блокнота, Лев Плещеев хотел все увидеть и обо всем написать. Мне нравились его очерки о стройке в Хибинах, у подножья горы с романтическим названием Кукисвумчорр, огромного апатитового комбината. Здорово писал отец и о строительстве сторожевых кораблей для возрождающегося Балтфлота, и о первых советских подводных лодках.

Мама посмеивалась, глядя на нас: «До чего вы похожи». У отца была огромная шевелюра табачного цвета и пылкие карие глаза (с годами он стал носить очки, но, так сказать, температура взгляда держалась на высокой отметке еще долго). Цветом волос и глаз я, и верно, похож на отца, да и походкой, слегка косолапой, тоже. Тут генетика сработала точно. Но не было у меня гена победоносной манеры держаться, столь характерной для отца. Ну да ладно.

Еще объединяла нас с отцом склонность к шуточкам, иногда, по мнению мамы, неуместным. И, конечно, интерес к морю, к флоту. Отец собрал неплохую библиотеку морских романов, я их все перечитал – «Двадцать тысяч лье под водой», «Труженики моря», «Фрейя семи островов», «Остров сокровищ», «Мичман Изи», «Фома Ягненок», и особенно любимые книги Грина, и «Соленый ветер» Лухманова. Мы с Оськой Виленским, соседом со второго этажа, обменивались книгами и марками, играли в военно-морской бой. Когда учились в десятом классе, увлеклись греблей, – в яхт-

клубе нас закрепили в команде одной из «шестерок», мы ходили на веслах по Неве и несколько раз под парусом выходили в Финский залив.

Оська был сыном гинеколога Розалии Абрамовны и профессора-искусствоведа Михаила Лазаревича Виленского. Знаете выражение: не от мира сего? Вот таким человеком был этот профессор. Всегда в черном костюме и черном галстуке, повязанном вокруг стоячего воротничка, с седой щеточкой усов, он, казалось мне, жил не в нашем беспокойном двадцатом веке, а черт знает когда – в Древней Греции, да и еще древнее, в минойскую (или крито-микенскую) эпоху. «Здрасьте, Михал Лазарич», – говорил я при встрече. Он вскидывал на меня взгляд бледно-голубых глаз и отвечал: «А, это ты, быстроногий ристатель». Я однажды спросил, почему он меня так называет. Профессор тронул одним пальцем усы и сказал, что в мои годы уже следует прочесть «Илиаду», а не бегать по чердакам. Ну, я вообще-то не бегаю по чердакам…

То есть, конечно, я понял, что имел в виду профессор. Оська однажды стащил из его кабинета страшную маску разъяренного быка и привязал к голове, а я нацепил маску кабана, и мы, завывая, вкатились на четвереньках в полутемный чердак нашего дома в ту минуту, когда там развешивала выстиранное белье Клавдия, крикливая жена слесаря Покатилова. Она завизжала от страха на весь Васильевский, но в следующий миг выхватила из таза мокрое полотенце и наки-

нулась на нас, выкрикивая известные слова. Конечно, Покатиловна (так мы называли ее) нас узнала и нажаловалась и моему, и Оськиному отцу.

Оська был склонен ко всяческим проказам. Таких, как он, бузотеров называли *стрикулистами*. Этимология этого слова мне не ясна, ну да ладно. От Райки не раз я слышал, что у Оськи несомненный музыкальный талант. Он хорошо играл на скрипке. Во время игры – я видел – Оська преображался, дурашливая улыбочка улетучивалась, он поджимал толстую нижнюю губу, а в глазах возникало как бы удивление красотой звука, извлекаемого из скрипки.

Оба они, Оська и Райка, кроме музыки, обучались и немецкому языку, дважды в неделю ходили на уроки к частной учительнице.

Однажды Оська наткнулся в телефонной книге на фамилию Зайчик. Он прибежал ко мне, и мы, недолго думая, позвонили. «Это Зайчик?» – спросил Оська. «Да», – ответил обладатель замечательной фамилии. «Пиф-паф!» – крикнул Оська. Мы захохотали, два жизнерадостных дурачка. С того дня это стало нашей игрой. «Это Зайчик? – говорили мы в трубку. – Пиф-паф!» Неведомый Зайчик сердился, обзывая нас болванами, кретинами, но знаете, никогда не матерился.

Между прочим, я внял совету Михаила Лазаревича и прочитал «Илиаду». Она шла трудно, я спотыкался об архаические слова и обороты гнедичевского перевода, о бесконечное множество имен ахейских и троянских героев. Но, странное

дело, постепенно я как бы вписался в торжественное течение поэмы. Как не восхититься, читая, например:

Так, ополчившися пышносияющей медью, данаи
Двинулись; их предводил Посидаон, колеблющий землю,
Меч долголезвенный, страшный неся во всемощной деснице,
Равный молнии пламенной…

Прямо глазам больно от пышносияющих медью доспехов данайцев, ахейцев, грозно идущих, ряд за рядом, в бой.

Кто теперь так пишет, как старик Гомер? Никто.

Знаете, я попробовал описать гекзаметром давешнее происшествие на чердаке:

С визгом ужасным к нему прибежала
Клавдия, гнусная сплетница, дочь Поликарпа,
Кляузу новую тщилась затеять, в оную впутав
Тучегонителя, славного Лазаря сына…

Оська показал мои каракули отцу. Михаил Лазаревич подозвал меня и сказал, трогая пальцем седые усы:

– Ты сочинил неплохо. Есть чувство стиля. Но ты должен знать, что у Гомера – прикрепленные эпитеты. Ахилл и Аякс – быстроногие, Гектор – шлемоблещущий. А тучегонитель – только Зевс. И никто больше. Ты понял?

Я понял. И, так сказать, прикрепил эпитеты: Оську стал

называть «крутовыйный Иосиф», а Райку – «румяноланитой девой». Они были близнецами, правда, Оська уверял, что старше Райки на семнадцать минут, а Райка возражала, говорила: «Трепись!»

Райка, и верно, имела на полных щечках румянец, ей это ужасно не нравилось, она вообще была полна противоречий. Училась в музшколе на фортепьянах, но вдруг объявила, что ей это надоело. Мама, Розалия Абрамовна, всполошилась: как так, у тебя способности, абсолютный слух! (В еврейских семьях принято, чтобы дети непременно учились музыке.) «Буду учиться на флейте!» – заявила капризная Райка.

Я сочинил:

Дева румяноланитая, как же ты можешь
Вместо кифары прекраснозвучащия
Дудку простую приставить к губам?

Райка засмеялась, когда я продекламировал свое сочинение, потом насупилась и потребовала, чтобы я перестал называть ее глупым словом «румяноланитая». Но я все же иногда называл, дразнил. Она, вспыльчивая, накидывалась на меня, размахивая кулачками и крича: «А ты дурак!»

Не знаю, как к музыке, а вот к шахматам у Райки точно были способности. В старших классах она вдруг стала здорово играть. Обыгрывала не только Оську и меня, но и сильных ребят из других классов, и в межшкольных турнирах брала призовые места. Это странно. Женщины в шахматы играют

хуже мужчин. Если не считать Веру Менчик, конечно.

Вы, наверное, заметили: только я подступлюсь к описанию главного события нашей довоенной семейной жизни, как отвлекаюсь… ухожу в сторону…

Трудно мне дается этот сюжет.

Ладно, приступаю скрепя сердце.

У нас была хорошая семья. Мама заведовала детской библиотекой, вечно бывала озабочена устройством литературных вечеров, приглашала поэтов, пишущих для детей, – ну и все такое.

Отец часто работал дома. В редакции, говаривал он, трудно сосредоточиться, много трепотни. Свои очерки он писал дома – тут никто ему не мешал.

Я приходил из школы, отец отвлекался от писанины, спрашивал: «Ну, сколько двоек сегодня притащил?». «Девятнадцать», – отвечал я и шел мыть руки. Мы с отцом доставали с широкого заоконного карниза кастрюли с едой, приготовленной мамой (холодильников в те поры еще не было), и обедали, перебрасываясь шуточками. Потом я убегал в яхт-клуб или в школу на волейбольную тренировку, отец же возвращался к сочинительству.

А вечером, когда вся семья собиралась, по выражению отца, за пиршественным столом, наступало прекрасное время. Обсуждали дневные происшествия, мама жаловалась на дуру-методистку, дед вспоминал что-либо из событий давних

времен.

– Вот ты закурил любимый «Казбек», Лева, – говорил дед, отпивая чай из стакана, сидящего в старинном серебряном подстаканнике. – А знаешь ли ты, как трудно начиналось курение табака в России? При царе Алексее Михайловиче оно было строго запрещено. Если кто попадался курящим в первый раз, то получал шестьдесят ударов палкой по пяткам. Попадешься второй раз – отрежут нос или ухо.

– Ничего себе! – Отец засмеялся и стряхнул пепел с папиросы мимо пепельницы. – Хорошо, что мы не в семнадцатом веке живем.

– Да, – сказал дед. – А в восемнадцатом Россия задымила. Петр велел курить табак, на ассамблеях в Питербурхе дым стоял коромыслом.

Мама спросила:

– А если баба курила, ее что – тоже палкой по пяткам?

– Не думаю, – ответил дед. – Хотя кто их знает…

– Есть наглые бабы, которых надо колотить по пяткам ежедневно.

– Ну зачем так безжалостно?

– Затем, что не только курят, но и лезут к женатым мужчинам, – сказала мама, метнув в отца быстрый взгляд.

Ее огромные голубые глаза темнели, когда мама чем-то бывала недовольна. И тонкий ее голос как бы терял звучность, в нем появлялось нечто… не знаю… что-то сварливое…

Уж не помню, в тот ли вечер или в другой я, вычистив зубы, проходил через комнату родителей в свою (то есть в кабинет деда, где я спал на старой кушетке) и услышал, как мама бросила отцу странную фразу: «И вообще закрой свой курятник!» Должно быть, у них происходил острый разговор, суть которого («курятник!») я понял позже, когда события разыгрались в полную силу.

Вы догадались, конечно, в чем тут дело. Ну да, отец был весьма неравнодушен к прекрасной половине человечества. Дух времени, что ли, был такой. Старый мир порушен, из пролитой большой крови, из голода, из гибели, грозящей отовсюду, рождается новая жизнь, – так не упусти свой шанс, ухвати то немногое, что еще осталось из радостей быстротекущей жизни…

Мамина сотрудница по библиотеке, хромоножка Мальвина, в Александринке, не помню уж, на каком спектакле, в антракте вышла в фойе и увидела моего отца с известной в Ленинграде поэтессой Людмилой Семенихиной. Они стояли, курили, отец ей что-то рассказывал. Семенихина, крашеная блондинка, в очень пестром креп-жор-жетовом (по мнению Мальвины) платье, громко смеялась и вообще держалась вызывающе.

Когда отец, спустя два дня, вернулся домой, мама спросила, где он был.

– Ты же знаешь, – сказал он, – в командировке, в Кронштадте.

– Врешь! – выкрикнула мама, ее глаза потемнели, как предгрозовое небо. – Ты был у Семенихиной!

– Вера, перестань…

Отец кивнул на меня (я только что пришел из школы и уселся за стол в ожидании обеда).

– Вадим уже не младенец, и нечего скрывать от него, что ты подлец и изменник!

Отец отвернулся. Он стоял и молчал, а мама кричала не своим голосом:

– Развратник! Мне надоели твои похождения! Убирайся к своим бабам! Видеть тебя не могу!

– Вера, успокойся, – просил отец. – Да, я виноват, но давай разумно… Но мама бушевала; из-под черной, с проседью, челочки, закрывающей лоб, рвалась гроза; обычно тихий голос обличительно гремел на весь Васильевский:

– Разумно! Я разумно молчала десять лет… просила прекратить курятник… опомниться… Нет! Всё кончено! Больше не могу! Сегодня же… Убирайся!.. Чтоб ноги твоей здесь больше…

Я тоже не мог больше слушать ужасный этот разговор. Выскочил из комнаты, едва не опрокинув идущего из уборной Покатилова. Он обругал меня матом. Промчавшись по коридору, я сбежал вниз, во двор, где мальчишки гоняли мяч, и дальше, дальше, куда глаза глядят… по 4-й линии, вокруг Академии художеств… В Румянцевском сквере было малолюдно, вот и хорошо, я бросился на скамейку близ фонтана.

Фонтан, как всегда, не работал. В его бассейне, закиданном сухими ветками и прочим мусором, прыгали, чирикая, воробьи. С набережной тренькали звоночки трамваев. Жизнь шла, несмотря ни на что. Невозможно было себе представить ее без отца. Родители! – взывал я сквозь слезы (да, да, первый раз в жизни я плакал), – с ума вы сошли?!

– Мальчик, кто тебя обидел? – вдруг спросил с соседней скамейки пожилой очкастый дядя, читавший газету.

– Никто, – буркнул я и пошел вон из сквера.

Странно: будто не этот старикан меня окликнул, а кто-то сверху… Уж не сам ли полководец Румянцев с высоты своего обелиска?..

Я долго шлялся по Васильевскому острову. В голове бродили дикие мысли. Влепить пощечину отцу, крикнув: «Это тебе за предательство!».. Убить поэтессу Семенихину… С криком: «Не хочу с вами жить!» сигануть в Неву…

Когда я пришел домой, мама сидела на диване и разговаривала с Розалией Абрамовной. Я подумал: вот, соседка, врач, пришла успокоить маму. Но, кажется, было как раз наоборот. Мама выглядела обычно – то есть спокойной деловитой женщиной, знающей, как управляться с заботами дня. Словно ее не била истерика три часа назад. А вот у Розалии Абрамовны крупное толстощекое лицо выглядело необычно: черные полоски бровей домиком кверху, глаза мокрые, – никогда я не видел эту сильную, несколько мужеподобную женщину такой – растерянной, что ли…

– Роза, извините, – сказала мама, – мне надо Диму покормить.

– Это вы меня извините, Верочка. – Розалия Абрамовна, вытирая глаза платком, поднялась с заскрипевшего дивана. – Очень, очень жаль, что у вас… Ну, может быть…

– Надеюсь, Роза, – перебила ее мама, встав, – что все у вас наладится. Привет Михал Лазаревичу.

Как ни в чем не бывало она разогрела на кухне обед, принесла на подносе и налила мне гороховый суп с кусочками мяса. И села напротив, подперев ладонью сухую щеку. Как бы издали вгляделась в меня, а потом сказала:

– Тебе надо постричься. – И без всяких подготовительных слов: – Дима, нам теперь придется жить без него.

Я отложил ложку. Не шел мне в горло суп.

– Я делала все, чтоб сохранить семью. Терпела. Просила не держаться этой сволочной новой морали, ну ты знаешь, наверно, – чтобы все было так же просто, как выпить стакан воды…

За окнами вдруг стало быстро темнеть. Дождевые тучи накрыли Васильевский остров, в стекла забарабанил дождь.

– Так вы что же, разведетесь? – спросил я.

– Никакого развода не будет, потому что наш брак не оформлен. Тогда это не было нужно. Теперь другое время, браки регистрируют в загсе. Но мы так и не удосужились… Что-то я не то говорю… – Мама отвернулась к окну. – Какой ливень! А дед ушел утром без зонтика… Погоди, Дима,

съешь вот рыбную котлету.

– Не хочу, – сказал я, роясь в своем портфеле. – Оська, черт, утащил Фалеева и Перышкина…

– Что утащил?

– Учебник по физике. Спущусь к нему.

– У Виленских переполох, – сказала мама, звякая тарелками по подносу. – Михал Лазаревичу завернули из издательства рукопись книги.

– Почему?

Я знал, что у профессора Виленского принята к изданию книга об искусстве Древней Греции, большой десятилетний труд, можно сказать – итоговый.

– Узнал, что из Эрмитажа продали двадцать картин. Рембрандта, Рубенса, Боттичелли.

– Кому продали? – недоумевал я.

– Каким-то американским миллионерам. И европейским. Португальцу какому-то.

– Ничего не понимаю. Зачем продавать такие картины?

– Не знаю. Правительству деньги, наверно, нужны. Михал Лазаревич узнал и – ну, отрицательно высказался. На каком-то академическом собрании. На лекции в университете тоже сказал, что нельзя распродавать шедевры искусства. А теперь, накануне учебного года, его вызвали в ректорат и предложили подать заявление об увольнении. По состоянию здоровья.

– Его уволили? Оська мне ничего…

– Близнецам велели молчать. Хорошо хоть, что в Академии художеств пока его не тронули.

– Что значит – пока? Он в академии всю жизнь читает про античное искусство.

– Пока не тронули. Роза Абрамовна так сказала. Она страшно встревожена. Вчера Михал Лазаревичу позвонили из издательства, что расторгают договор. Она прибежала с отцом посоветоваться… можно ли через газету помочь…

Вот как: к отцу пришла. А отца – нет. Мама его прогнала. Как же это… нет и не будет?.. Чертовщина какая-то…

Мама вдруг прижала мою голову к своей щеке.

– Димка, ты прости… прости нас, что так нехорошо, некрасиво… Пойми, пойми, я долго терпела, но уже просто невозможно…

– Понимаю, мам, понимаю. – Я гладил ее по худенькой спине. – А отцу никогда не прощу.

Она отшатнулась, всмотрелась в меня.

– Нет, Дима, так тоже нельзя. Он же отец, он любит тебя, вы должны встречаться и…

– Не прощу, – повторил я упрямо. – Предательство не прощают.

Спустя месяц умер дед – задохнулся на строящемся корабле. Никогда не забуду, как рыдала над его гробом мама. Вселенский плач – кажется, так называется это…

Глава вторая
Вадим Плещеев влюбился

Парголово!

Сквозь режущий глаза морозный ветер, сквозь снежную пыль, взметенную лыжниками, сквозь парок собственных выдохов видит Вадим Плещеев темную полоску леса. Туда уходит лыжня, да не одна, и лавиной скатываются по ним курсанты с горки – черные бушлаты, черные шапки, разгоряченные молодые лица, мелькание палок, чей-то разбойный свист…

Сто раз, а может больше, бегал тут, в Парголове, Вадим на лыжах, но никогда еще не жаждал так, как сегодня, первым прийти к финишу. В училище, конечно, были сильные лыжники, ну а он, Вадим Плещеев, тоже не из слабаков.

– Эй, фигура! – орет он, догоняя коренастого паренька с одной «галочкой» на рукавах бушлата. – Дорогу!

Но тот, конечно, не намерен уступить дорогу. Невежа, салажонок с первого курса. У него, Вадима, корма тоже не обросла еще ракушками, но все-таки он уже второкурсник. Вам понятно? Он уже на втором курсе лучшего в мире военно-морского училища имени Фрунзе.

Ладно. Сойдя с лыжни, Вадим обходит салажонка и начинает подъем на пригорок. Бам-бам, хлопают лыжи по пяткам

башмаков. Серое январское небо хмуро нависает над Парголовом, высыпает очередной заряд колкого снега.

Ну! Одолев подъем, Вадим втыкает палки в снег, переводит дыхание, а лес – вот он, совсем уже близко. Спуск! Пригнувшись, мчится Вадим к стене елей, чьи темно-зеленые ветви поникли от налипшего снега. Теперь – ровная лыжня вдоль лесной опушки. Набрать скорость! Вон одинокая сосна впереди – торчит, как дежурный по трассе, – по дороге к ней непременно обогнать еще двоих! Черт знает, зачем ему это нужно… такое напряжение сил, что сердце стучит у горла… как дробь барабана… Обходит одного, ну теперь – следующего…

Но следующего соперника обогнать не удается. Весь в снежной пыли, белобрысый, без шапки, соперник первым проносится мимо одинокой сосны… Вот же работает палками, черт длинноногий… Это Валька Травников с третьего курса…

Последний круг двадцатипятикилометровой гонки. Все оставшиеся силы, весь резерв выложить, – только бы не подвел, не выскочил из груди мотор, работающий на предельных оборотах… А ну, давай, Вадим… нажми, нажми!

Лыжня уходит в перелесок, петляет меж сосен… тут гляди в оба… не врезаться бы на повороте в эти три сосны… три сестрички мохнатые… А пот так и льет из-под шапки на глаза… сбросить бы шапку, да жалко… казенное имущество все же… хрен знает, какие дурацкие мысли лезут в голову

на бегу…

Нет, не обогнать Травникова. А это что за пыхтение за спиной? Гляди-ка, первокурсник наддал и обгоняет справа… как смеешь, салажонок лупоглазый?.. Вот я тебя!

Но на подъеме – последнюю горку взять перед финишем – Вадиму не удается обойти салажонка. Выдохся Вадим. Дышит бурно, со свистом. Черт с ними, приду третьим… Третий – это тоже результат…

Спуск к финишу! Лыжи сами несут Вадима вниз по склону. А ну, а ну!.. Травникова не обогнать, далеко ушел, но салажонку сесть на хвост… Нажми, Вадим!..

Эй, осторожно! Вон финиш, там полно народу, но лыжня затерта… снег раскатан, лыжи разъезжаются…

А-а-ах ты!.. Занесло… С разбега, с разгону скользят лыжи в сторону, левая ударяется о сосну… треск!

Вадим падает, но тут же, облепленный снегом, поднимается, снимает с башмаков лыжи – сломанную и целую – и, схватив их и палки под мышку, бежит к финишу.

Главное – пересечь финишную черту! Разве не так?

И он пересекает ее бегом и, тяжко дыша, валится в хрупкий снег на обочине. Слышит: ему хлопают в ладоши. Капитан, училищный руководитель физподготовки, направляется к нему, озабоченно улыбаясь.

С Валентином Травниковым Вадим познакомился год назад, еще когда на первом курсе учился. Он вечером сидел в

комнате для самоподготовки, вгрызался в «Краткий курс» – готовился к зачету по основам марксизма-ленинизма. Рядом сидел за столом Паша Лысенков, однокурсник, но, похоже, он уже дремал, подперев щеку кулаком. Паша был «науконеустойчив», его на лекциях клонило в сон. И что интересно, при этом он не переставал писать в тетради. Вадим однажды заглянул в его тетрадку: неужели Паша, задремав, продолжал конспектировать лекцию? Нет, чудес не бывает, Паша не лекцию записывал, а беспрерывно расписывался. Надо же, спал, а рука автоматически двигалась, ставила подпись. Чудо не чудо, конечно, но все же достойно удивления.

Итак, сидели они в комнате самоподготовки, Паша клевал носом, а Вадим как раз добрался до Пражской конференции, и тут вошли несколько курсантов-второкурсников, громко переговариваясь. Двое остановились в проходе между столами.

– Гляди-ка, – заметил один, – у этого салажонка шишка на голове. Вадим вскинул взгляд на сказавшего это черноглазого курсанта с тонкой полоской черных усиков над усмешливым ртом.

– Да, – хохотнул второй, долговязый малый с аккуратным белокурым зачесом. – Как у алжирского бея.

– У алжирского бея, – сухо сказал Вадим, – шишка была не на голове, а под носом.

– Ух ты! – удивился белобрысый. – Грамотный курсант пошел, классику читает.

Шишка, и верно, была у Вадима на голове, над затылком, и довольно большая – как циферблат часов «Павел Буре», доставшихся ему после смерти деда Ивана Теодоровича. Мама, обеспокоенная, таскала Вадима к врачам, но те утверждали, что шишка не опасна, только не надо ее трогать. Обычно она была скрыта шевелюрой, но теперь-то, при поступлении в училище, Вадима постригли. Оська Виленский, как увидел его стриженого, сразу стал дразнить: «Гололобая башка, дай кусочек пирожка!» Он-то, Оська, как скрипичный вундеркинд, поступил в консерваторию. А там не стригли.

Валентин Травников – это он удивился, что «грамотный курсант пошел», – вскоре присмотрелся к Вадиму не по поводу шишки на голосе, а по спортивному вопросу.

В училище волейбол был любимым видом спорта. Вот Травников, игравший в сборной команде училища, однажды посмотрел, как играют первокурсники – класс с классом, – и после матча подошел к Вадиму.

– Как твоя фамилия?

– Плещеев, – сказал Вадим, разгоряченный игрой.

– Ух ты, громкая какая фамилия, – сказал Травников. – У тебя прыжок невысокий, но удар ничего. Подача получается.

– Я стараюсь, – кивнул Вадим. – Если у тебя все, я схожу в душевую.

– Иди, иди, Плещеев. Мочалку не забудь.

Они и потом встречались иногда в коридорах, обменива-

лись подначками, как было принято в училище, но в начале второго семестра Травников сделал Вадиму серьезное предложение.

– Слушай, Плещей бессмертный. Предстоят межучилищные соревнования, а Жорка Горгадзе заболел. Давай-ка мы тебя попробуем как запасного. А?

Войти в волейбольную сборную училища – это, знаете, не кружку компота из сухофруктов выпить. Но для порядку Вадим поломался немного:

– У нас кораблевождение много времени занимает.

– Тренировки начинаются в двадцать ноль-ноль, – сказал Травников.

– Ты флажным семафором сколько знаков в минуту передаешь?

Но Травников и этот вопрос пропустил мимо ушей.

– Значит, если завтра в двадцать ноль-ноль не придешь, то махай флажками и дальше.

Конечно, Вадим в назначенный час пришел в спортзал. У него, и верно, подача была крепкая, мяч пролетал низко над сеткой и «падал стремительным домкратом», как определил Травников, знаток Ильфа и Петрова. Топил Вадим не так чтобы очень, но – принимал «гиблые» мячи и накидывал для топки неплохо. Вскоре он утвердился в списке сборной и стал играть в матчах. Он высоко накидывал мяч Травникову, и тот, прыгучий, как дикий кот, топил с ирокезским выкриком. Если же Вадим подавал ему мяч неудачно, Травников

кричал: «Ах ты, япона мать!»

Кстати, о начитанности. Валя Травников обожал Зощенко и Ильфа-Петрова, а кроме этих, и верно, замечательных писателей, читал только морские книги.

– Мне, – говорил он, – «Танкер “Дербент”» интересней, чем «Анна Каренина».

– Да ты что, Валька? – удивился Вадим. – Разве про любовь неинтересно?

– Про несчастную любовь – да, неинтересно. А про счастливую никто не пишет. И давай сменим тему. Ты «Морского волка» Джека Лондона читал?

– Читал.

– Как называлась шхуна Волка Ларсена?

– Кажется, «Призрак».

– Не кажется, а точно. А корабль Грея из «Алых парусов»?

– Ну это все знают. «Секрет».

– Ладно. – Травников подумал несколько секунд, покусывая большой палец. – Ты говорил, что читал Джозефа Конрада. Как назывался пароход в романе «Лорд Джим»? Который потонул с паломниками на борту?

Теперь Вадим задумался. «Вот же черт длинноногий, обязательно ему нужно меня к стенке припереть…»

– Не помню, – сердито сказал он. – Я не обязан помнить потонувшие пароходы.

– Ты же в моряки записался, значит, должен помнить. – В светло-зеленых глазах Травникова плескалось насмешливое

выражение. – А какой корабль привез Миклухо-Маклая на Новую Гвинею и какой оттуда вывез – хоть это ты знаешь?

– Привез корвет «Витязь», а вывез клипер «Изумруд».

– Ладно. Ну иди, учись кораблевождению. Пока.

Легкой походкой Травников направился к выходу из спортзала.

– Валя! – окликнул Вадим. – Так как назывался потонувший пароход у Конрада?

– «Патна»! – крикнул Травников и скрылся за дверью.

Однажды Вадим спросил, откуда он родом, из приморского города, наверное?

– Нет, – сказал Травников, – я сухопутный человек. Из Губахи. Ты, конечно, знаешь, где находится этот населенный пункт. Не знаешь? – притворно удивился он. – А я-то думал, ты в географии разбираешься.

– Ах да, вспомнил: Губаха – столица княжества Лихтенштейн.

– Во, правильно! – Травников усмехнулся. – Там князя так и зовут: Губаха-парень.

По обыкновению, они потравили немного, а потом Травников все же, коротко, в отрывистой манере, рассказал о себе.

– Я родился в Губахе, городке в Пермской губернии, – там жил мамин отец, лесопромышленник – бывший, конечно, – папа у него работал на сплаве – сила неимоверная, бревна ворочал, – влюбился в дочку лесопромышленника, а она в

него, – раньше умели любить – не то что твоя Анна Каренина…

– Она тоже умела, – заметил Вадим.

– Поженились, и две дочки у них родились – было бы больше, но тут мировая война – папа воевал на турецком фронте – тяжело ранен при взятии Эрзерума – выжил – гражданская началась – пошел в Красную армию – под Астраханью опять ранило – вернулся в Губаху – апрель девятнадцатого – как раз Колчака погнали за Каму – в Губахе черт ногу сломит – папа с недолеченной раной пошел дальше воевать – тут и я вскоре появился – с твоего разрешения…

– У меня, – сказал Вадим, – нет никаких возражений. А почему ты, сухопутный шпак, вдруг пошел в моряки?

– Ты, конечно, знаешь, что Губаха стоит на реке Косьва? – Травников с отрывистой речи перешел на обычный язык. – По Косьве все лето бревна плыли. Молевой сплав, понятно? Мы, пацаны губахинские, ныряли под плывущие бревна. Такая была игра. Я однажды нырнул, а выплыть – не могу. Сплошные бревна над головой. Задыхаюсь уже, нечем же дышать. Ногти рву о бревна снизу…

Травников умолк, вытащил пачку «Беломора», закурил.

– А дальше? – спросил Вадим, тоже закурив.

– Раздвинул бревна. В последнюю секунду. Такое страшное усилие пришлось… В общем, всплыл. – Травников помолчал, а потом, усмехнувшись, закончил: – И решил: раз вода меня не берет, значит, пойду в моряки.

Можно было подумать, что он, с его склонностью к морской травле, сочинил историю с плывущими над головой бревнами, но Вадим видел, или, скорее, чувствовал, что Валя не врет. Были, были эти бревна на реке Косьве.

А в тридцать втором году отца Травникова, воевавшего в туркестанских песках с басмачами и дослужившегося там до высоких чинов, отозвали в Москву на крупную работу в профсоюзах. В Москве и протекала дальнейшая молодая жизнь Вали Травникова. Он в отца пошел: и ростом вымахал, и силушка такая же в нем взыгрывала, и убежденностью в правильном ходе государственной жизни был он схож с отцом. Вот только чертами лица не в папу пошел, с его башкирской внешностью, а в маму, златокудрую купеческую дочку, – та же прозрачная зелень проросла в его глазах, что и у нее.

Сестры устраивали свою жизнь по технической части: старшая училась в Бауманском институте (и замуж там пошла за доцента в области сопротивления материалов), а младшая вовсе даже поступила в МАИ. «Надо бы и тебе, Валентин, по авиации пойти, – говорил папа Ефим Травников. – Гляди, какие перелеты. Стране самолеты нужны». «Да, да, – кивала мама Анастасия Леонтьевна, – определиться надо, Валечка, в десятом классе уже, а ты все бегаешь-прыгаешь».

Валя, и верно, очень спортом увлекался, но на первом-то месте было у него морское дело, питаемое чтением книг о

море, греблей по Москве-реке и интересом к звездному небу в планетарии. К окончанию десятилетки он уже вполне определился – и поехал в Ленинград поступать в военно-морское училище имени Фрунзе.

31 декабря курсант Вадим Плещеев получил увольнение до 9 часов утра 1 января 1941 года. Это была удача! Учитывалось, конечно, что Вадим ленинградец и что курсант он – по учебной части и по дисциплине – исправный.

Часу в восьмом вечера, быстро пробежав короткий путь с 8-й линии Васильевского острова, где находилось училище, до 4-й, Вадим взлетел на третий этаж родного дома.

– Димка! – Вера Ивановна повисла у него на шее. – Какая приятная неожиданность! У тебя увольнение до утра?

– Ага. Дай-ка сниму мокрую шинель. Ну как ты, мам?

Он, улыбаясь, всмотрелся в Веру Ивановну. Уже, конечно, не девичья тонкая фигурка, все же под сорок лет, не шутка. Черные волосы, гладко обтекающие голову, тронуты сединой, а челочка, закрывающая лоб, совсем поседела. Но глаза – по-прежнему сумасшедшей голубизны.

– Димка, ты голодный?

– Нет, только что поужинал.

– Вас хорошо кормят? Вот, съешь яблоко. Ты хочешь переодеться? Не надо, тебе идет морская форма. – Вера Ивановна прямо-таки излучала радость, редкую в ее нынешней одинокой жизни. – Мальвина принесет торт, я-то не масте-

рица печь, а она умеет. И Елизавета придет, тоже принесет что-то. А у меня вино хорошее, кагор, и салат приготовлю, вот и встретим Новый год как полагается. И ты с нами, тремя старыми бабами, да, сыночек?

– Я с вами посижу, конечно, – сказал Вадим, хрустя яблоком. – Но вообще-то у Виленских встречу. У Оськи и Райки, ты же знаешь, тридцать первого день рождения.

– Да, да, помню. Я сегодня с Розалией говорила, поздравила. У нее после смерти Михал Лазаревича один свет в окошке – Ося. Кажется, он станет большим музыкантом.

– Может, и станет. Если струны не порвет.

– С чего это он порвет? – удивилась Вера Ивановна.

– Слишком сильно бьет смычком.

– Глупости какие… Дима, знаешь, отец сегодня звонил. Поздравил с Новым годом и спрашивает: а как там наш гардемарин? Ты бы позвонил отцу хоть разочек.

– Мне не о чем с ним говорить.

– Ох, Дима… упрямый, непреклонный… У него новая книга вышла. Вернее, старая – «Люди Арктики», которая застряла три года назад. Из-за того, что он вывел героем этого, ну, главного полярника, которого посадили…

– Самойло́вича.

– Да, верно. Отец говорит, ему пришлось всю книгу перелопатить.

– Я рад за него, – сухо сказал Вадим. – А вот что бы Оське подарить? И Райке?

Он, конечно, знал, что отец поддерживает отношения, звонит маме и, кажется, помогает материально (хотя мать об этом никогда не говорила). Знал, что, недолго прожив с поэтессой Семенихиной, отец женился на сотруднице, журналистке Галине Вартанян, и что у них родилась дочка Люся. Нет, Вадим не укорял мать в том, что она окончательно не оборвала отношения с отцом. Пусть общаются, но – без его, Вадима, участия. Он вышвырнул этого человека из своей жизни. Предательство не может быть прощено.

Но, по правде, каждый раз, как мать передает от него приветы или просто рассказывает о нем, об его книгах, Вадиму бывает не по себе. Горечь подступает к горлу, и всплывают сами собой воспоминания, непрошеные, ненужные…

– У меня неначатый флакон одеколона, возьми и подари Раечке.

– Спасибо, мама!

А Оське что подарить?

А вот что: треуголку Ньясы. Оська с ума сойдет от радости, он ведь давно положил на нее глаз. Вадим полистал альбом с марками. Вот африканские листы, вот зеленая треуголка Ньясы. Жираф, вытянув шею, лакомится ветками пальмы. Рядом еще одна треуголка, с портретом Васко да Гамы. Ну уж дудки, да Гаму он не отдаст. Жирафа тоже, конечно, жалко, такая красивая марка, украшение коллекции… Ладно, прощай, жираф.

Да, но одной марки для подарка маловато. Может, отдать

еще эту – Либерию, на ней тоже пальмы. Или вот эти три – Французская Западная Африка, Дагомея – негр, забирающийся на кокосовую пальму. Что ж, хороший подарок, – любой филателист облизнется.

Вадим положил марки в коробочку из-под каких-то пилюль и завернул в газету, – получился довольно объемистый пакет, намекающий на крупный подарок. Затем уселся за старинный письменный стол покойного деда, закурил и принялся сочинять стихотворное послание, придерживаясь излюбленного размера – гекзаметра.

Веселая хорошая работа увлекла его. Не сразу он услышал голоса в соседней комнате. Вера Ивановна заглянула в кабинет:

– Ой, как ты накурил, Димка! Уже гости пришли. Выходи. Будем провожать старый год.

Гости были скорее гостьями: Мальвина, мамина многолетняя сотрудница по библиотеке, с библейски красивым лицом и плосковатой фигурой, хроменькая после перенесенного в детстве полиомиелита, и Елизавета Юрьевна. Эта маленькая ростом миловидная блондинка около года назад появилась в квартире – обменяла свою комнату на Охте на комнату между кухней и Покатиловыми.

«Никогда бы с Охты не ушла, – рассказывала она, – если б на работу ездить не приходилось так далеко». Работала Елизавета в больнице операционной медсестрой и от специфики этой работы, а может, от природы характер имела решитель-

ный. «Которые хамят, я таких не люблю, – говорила она. – Чего вы тут Покатиловым поддакиваете?» Она-то не поддакивала. Клавдию Поликарповну, грубиянку крикливую, осадила резкими словами и, между прочим, потребовала, чтобы та в кухне освободила место для ее, Елизаветы, столика. А Покатилову, когда он, пьяный, обматерил ее, что в уборной долго сидит, Елизавета такое наговорила, что тот, заметно трезвея, молча прошагал в свою комнату и сильно хлопнул дверью.

– А-а, моряк красивый сам собою, – заулыбалась Елизавета Вадиму. – Поработай вот, открой консервы.

Она тут была главнокомандующим. Маленькая, коротко стриженная, в желто-полосатом платье с широким белым воротником, Елизавета руководила подготовкой к пиршеству. Вадим взял консервный нож, вспорол две банки «чатки» – тихоокеанского краба, недавно появившегося в продаже.

– Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы, – процитировал он известную рекламу.

– Молодец, – сказала Елизавета. – Теперь лук порежь. А то Мальвина все глаза выплакала.

– Ой, он такой едучий… – Мальвина промокнула глаза платочком. – Верочка, а лопатка для торта у тебя есть? Ну да, я помню, имелась лопаточка… Какой у нас стол хороший… Не хуже, чем в «Большом вальсе». Помните? У Штрауса, когда к нему пришел этот… издатель нот…

Стол, и верно, получился что надо. Среди блюд с салатами

высились бутылка кагора и графин с зеленоватой настойкой, сделанной умелой женщиной Елизаветой Юрьевной.

Она же и провозгласила первый тост:

– Уходящий сороковой начался плохо, война шла рядом с нами, в Питере все больницы забиты ранеными с линии Маннергейма, сколько побило людей – ужасное дело. А кончается год хорошо. Войны нет. Там где-то идет, в Европе, а у нас тихо. Вот и выпьем, чтобы наступающий год был такой же тихий. Чтоб люди спокойно жили, так?

Кто ж за это не выпьет – за *спокойную жизнь*. Даже Вера Ивановна, непьющая, осушила бокал кагора. Ее бледные щеки порозовели. Она Вадиму положила горку салата на тарелку: «Ешь, Димка, ешь, ты такой худой…» И ввязалась в спор с Мальвиной, тоже очень оживленной от выпитого вина.

– …Конечно, красивая она, Милица Корьюс, – говорила Мальвина, щуря свои миндалевидные глаза, – но все равно самая прекрасная – Франческа Гааль! Вспомните, девочки, – «Петер»!

– Ну и что? – спорила Вера Ивановна. – Только и есть у твоей Франчески, что приятная мордашка.

Вадим поедал салат, крабов тоже не забывал. В голове у него слегка шумело от крепкой настойки, и острый ее дух держался в ноздрях. «Большой вальс»! Ну еще бы, как прошлым летом прокрутили его в Питере, так все и обалдели. Такая картина! Вроде бы там революция 1848-го года происходит, – но разве это революция? Катят они, Штраус и Кар-

ла Доннер, в коляске по Венскому лесу и на ходу сочиняют вальс… такая красота… почтовая карета им трубит музыкальную фразу… и топот лошадиных копыт… Не революция у них, а сплошной нэп.

Сам же и засмеялся Вадим от этой странной мысли.

– Чего ты смеешься? – сказала Елизавета. – А давайте выпьем за Вадима! За будущего моряка!

Хлебнув настойки, Елизавета пустилась рассказывать, как прошлой зимой была потрясена, когда увидела первого раненого, привезенного с финской войны.

– Ранение грудной клетки. Молодой-молодой, ну мальчик, лежит почти без пульса, вот такая осколочная рана у соска, и через нее воздух со свистом входит и выходит. Никогда этот свист не забуду! – Елизавета, зажмурясь, помотала головой. – И при каждом вздохе струйка крови фонтаном… Открытый пневмоторакс… Ужасно…

– Выжил он? – спросил Вадим.

– Нет. Слишком большая кровопотеря… Ой, насмотрелась я. Столько операций. Мы многих спасли, у нас хирурги замечательные… Ну, давайте еще – чтоб не гибли наши мальчики на войне…

Вадим посмотрел на «Павла Буре», исправно отсчитывающего последние часы сорокового года. Шел уже одиннадцатый час. «Может, не идти к Оське встречать Новый год? Уж очень я расслабился…»

– Я та́к скажу, – звучал голос Елизаветы, – в нашем деле

главное – новокаиновая блокада и мазь Вишневского…

«Нет, надо пойти, Оська и Райка обидятся, день же рождения у них».

Вадим простился, пожелал женщинам счастливого Нового года. И спустился на второй этаж.

Оська, очень нарядный, в черном бостоновом костюме, при черном же галстуке, отворил дверь и гаркнул:

– Ага, заявился, гроза морей! Свистать всех наверх!

Вадим вручил ему пакет с подарком и вошел в большую комнату квартиры Виленских. Тут за накрытым столом сидели седоголовая Розалия Абрамовна в клетчатом жакете и Райка в темно-зеленом платье с рукавами, обшитыми рюшами. И еще сидела за столом незнакомая дева, – от ее улыбки у Вадима сердце подпрыгнуло к горлу.

Он вручил Райке одеколон, подарок был благосклонно принят. А Оська, развернув газету и добравшись до марок, восторженно завопил:

– Ньяса с жирафой! Ура!

– С жирафом, – поправил Вадим. – Он самец.

Райка представила подругу:

– Это Маша, моя однокурсница. Маш, это Вадим Плещеев, наш сосед. – И добавила со смехом: – Помещик двадцати двух лет.

– Очень приятно, товарищ сосед, – сказала Маша, протянув Вадиму крупную белую руку.

Непонятно, что́ вдруг ударило Вадиму в голову, – может, электрический разряд? Он нагнулся и поцеловал протянутую руку. Маша отдернула ее:

– Что вы делаете?!

– Извиняюсь, – пробормотал Вадим. – Я не нарочно…

– Он не нарочно! – вскричал Оська. – Он – случайно! Ха-а-а-ха-ха-а…

– Ося, угомонись, – сказала Розалия Абрамовна. – Дима, садись. Раечка, налей ему вина. И холодец положи. Сто лет не делала холодец, а сегодня сделала, – кажется, получился. Ты что-то похудел, Дима. Вас в училище плохо кормят?

– Нет, кормят хорошо. – Вадим сел между Раей и Машей. – Спасибо, Райка. – Поднял бокал, наполненный красным вином. – Розалия Абрамовна, лучше всего у вас получились близнецы, – сказал он. – Поздравляю вас.

– Спасибо. – Розалия Абрамовна, чье крупное лицо с черными бровями домиком хранило печальное выражение с того далекого уже дня, когда профессора Виленского свалил паралич, улыбнулась. – Ты правильно сказал, Дима. Между прочим, я и к твоему появлению на свет имела некоторое отношение.

– Тут у тебя получилось гораздо хуже, чем с нами, – заявил Оська и опять залился смехом, похожим на лай.

Перед Машей он выпендривается, подумал Вадим. Парадный костюм нацепил. Может, для него и пригласила Райка свою подругу?

Он искоса посмотрел на Машу. Что тут скажешь, настоящая красотка, почти как Любовь Орлова. Только волосы темнее – два пышных русых крыла ниспадают на щеки, оставляя открытым треугольник белого лба. Маленький нос будто по линейке выточен. А губы!..

– Я в архивах копался, – сказал Вадим, – и нашел старинное стихотворение. Можно, я прочту?

Ты, крутовыйный Иосиф, искусно на скрипке играешь,
Длинным смычком из нее извлекаешь различные звуки,
Оными слух окружающих граждан желая насытить,
Дерзко пытаясь сравняться с самим Аполлоном великим,
Непревойденным в игре на кифаре и в играх любовных.
Знай же, Иосиф, игрок крутовыйный, что счастье

Вовсе не в том, чтоб терзать терпеливые струны,
Длинным смычком беспрерывно по ним ударяя, —
Счастье не в том. Ну а в чем оно, собственно, счастье,
Определить не берусь. Но скажу тебе, друг мой,
Что себя ощущаю счастливым я в те лишь минуты,
Когда скрипка твоя громкозвучная вдруг умолкает.

Смех раздался за столом.

– Прямо новый Гомер, – смеялась Маша.

– Вадька, – закричал Оська, – склоняю перед тобой крутую выю! Райка, положи ему еще холодца!

– Слышала? – сказал ей Вадим. – А то ты сама ешь, а дру-

гим не даешь.

– Трепись! – сказала Райка, накладывая ему холодец на тарелку. – За тобой не поспеешь. Ты обжора. Жеривол и Курояд.

– Кто я? – не понял Вадим. А Маша, смеясь, пояснила:

– Раечка курсовую работу писала о Феофане Прокоповиче. У Феофана была комедия «Владимир», – он высмеивал жрецов-язычников, с которыми вел борьбу князь Владимир. Вот этих жрецов, обжор и развратников, Феофан так назвал: Курояд, то есть пожиратель кур, Жеривол…

– Пияр, – добавила Райка, – то есть выпивоха. Дело в том, что Феофан Прокопович был сторонником Петра и в своей комедии отразил борьбу Петра с реакционным духовенством…

Тут из радиоприемника – лакированного ящика, стоявшего на комоде, – раздался неторопливый державный звон кремлевских курантов. После двенадцатого удара грянул «Интернационал».

– Ну вот и сорок первый! – возгласил Оська. – Привет, сорок первый! С Новым годом!

– Как хочется, чтобы год был спокойный, – сказала Розалия Абрамовна. – Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие.

Выпили вина за неведомый сорок первый. Оська завел патефон. Вступил чистый голос Шульженко: «Нет, не глаза твои я вспомню в час разлуки… Не голос твой услышу в тишине…»

– Всем танцевать! – объявил Оська и пригласил Машу.

«Я вспомню ласковые, трепетные руки, и о тебе они напомнят мне…»

Они хорошо танцевали. Оська, подобрав толстую нижнюю губу, держался прямо, голову вдохновенно откинул назад. Вот только был он ниже Маши почти на полголовы. А она, крупная, красивая, в облегающем синем платье с белым бантом на груди, кружилась, смеясь, под поднятой Оськиной рукой.

«Руки! Вы словно две большие птицы! Как вы летали, как оживляли все вокруг…»

– Пойдем. – Райка потянула Вадима танцевать. – Оторвись наконец от еды, Курояд.

«Руки! Как вы могли легко обвиться, и все печали снимали вдруг…» Девочку Раю, капризную и своенравную, Вадим помнил столько же, сколько помнил себя. Вот рядом, под подбородком, покачивается ее каштаново-кудрявая голова. Ее глаза, не то синие, не то темно-серые, то и дело меняют выражение – сердитое, ласковое, возмущенное, а то и вовсе отсутствующее, – странные глаза. Это она. Райка, привычная, как Оськина скрипка. И в то же время – уже не тарахтелка-толстушка, как в детстве. Талия, перетянутая серебристым поясом, уже, можно сказать, женская. На повороте Вадим, как бы невзначай, прижал к себе Райку, ощутив ее упругую грудь. Райка вскинула на него взгляд не то негодующий, не то вопрошающий. Она была *другая*, вот что…

– Ты наступил мне на туфли, – сказала она.

– Извини. Я же плохо танцую… А эта твоя Маша, – спросил он, – всегда смеется, да?

– С чего ты взял? Она очень серьезная. Она у нас групкомсорг.

– Давно с ней дружишь?

– Недавно. Мы с ней прошлой зимой, когда финская война шла, вместе сдавали донорскую кровь. Для раненых.

– Кровная дружба, значит. Она ленинградка или…

– Ой, опять наступил! Медведь косолапый… Маша в Кронштадте живет. А тут – в общежитии на Добролюбова. Оська, поставь «Утомленное солнце».

Оська сменил пластинку. Мужской голос, исполненный неизбывной печали, повел:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви…

– Солнце не может быть утомленным, – сказал Вадим. – Оно просто горит.

– Это у тебя все просто, – сказала Рая.

Мне немного взгрустнулось —
Без тоски, без печали
В этот час прозвучали

Слова твои…

Оська вдруг спохватился:

– Чуть не забыл! – метнулся к телефону, набрал номер, закричал в трубку: – Зайчик, это ты? С Новым годом! Что? Зайчик, не надо ругаться. Пиф-паф!

* * *

В том январе объявили в училище культпоход в театр имени Пушкина (его по-прежнему называли Александринкой) на спектакль «Мать» по пьесе Карела Чапека. И Вадим вот что надумал: пригласить Машу. Он, конечно, понимал странность, даже неловкость такого поступка: с Машей он едва знаком, не его это девушка, и вряд ли она примет приглашение. Да и как до нее добраться? Можно, конечно, дозвониться до университетского общежития на Добролюбова, но студентку к телефону не позовут. Ладно хоть, что он узнал от Райки ее, Маши, фамилию: Редкозубова.

Тут надо пояснить немаловажное обстоятельство: Вадим в эту Машу Редкозубову влюбился. В отца своего, Льва Плещеева, он, что ли, пошел по склонности к прекрасному полу? Трудно сказать. Однако когда преподаватель штурманского дела крикнул: «Курсант Плещеев! Вы что, ворон считаете?» – Вадим спохватился, что не услышал вызова к доске. Надо же, загляделся в окно, в котором рисовалась его во-

ображению женская головка… два крыла русых волос… бело-розовый овал лица… светло-карие глаза широко расставлены, и один, кажется, правый, имеет золотистое пятнышко… и такие губы, такие губы, открытые в улыбке…

Томился Вадим Плещеев, вы понимаете?

И когда день культпохода приблизился, он, движимый томлением, решился на странный поступок. В тот субботний вечер, когда было разрешено увольнение, сильно мело. До угла, до Невы еще ничего, а когда близ памятника Крузенштерну Вадим повернул на Университетскую набережную, на него накинулась, с древним каким-то воем, белая от бешенства метель. Ложась на метель грудью, Вадим, полуослепший, облепленный снегом, ломился, как «Фрам» сквозь льды Арктики (такое сравнение вдруг влетело в голову).

На стрелке Васильевского острова метель бесновалась вовсю. Как бы не снесла ростральные колонны. Мост Строителей Вадим одолел чуть не ползком, давлением тела прорубая проход в сугробах.

Ну вот оно, университетское общежитие на углу проспекта Добролюбова – крепкий утес среди стихий. Вадим, тяжело дыша, вошел, в тамбуре сбил с шапки нарост снега, отряхнул шинель. В вестибюле на него уставилась пожилая дежурная в больших очках:

– Вы к кому, товарищ моряк?

– К Редкозубовой. Она на втором курсе филфака…

– В какой комнате?

– Не знаю, – сказал Вадим.

Дежурная осуждающе покачала головой:

– Прихóдите к человеку, а не знаете, в какой он комнате.

– Так я пойду поищу.

– Долго искать придется. Пять с половиной этажей.

– Ничего. – Вадим насупился, приготовился преодолевать возникшее препятствие. – Я найду.

– Подожди, – перешла дежурная на «ты». – Света! – окликнула она мелкозавитую коротышку, пересекавшую вестибюль с чайником в руке. – Ты такую студентку знаешь – Редкозадову?

– Редкозубову, – сердито поправил Вадим.

– А кто ее не знает, – пропищала Света, любопытным взглядом окинув Вадима.

– В какой она комнате?

– В сто тридцать второй.

– Ну, это пятый с половиной этаж, – уточнила дежурная. – Иди, моряк. Посещение до двадцати трех часов. Позже нельзя.

Вадим поднимался по лестнице, по которой шмыгали вверх-вниз парни и девушки, смеясь и перекликаясь. Говорили они, само собой, по-русски, но смысл их перекличек Вадим не улавливал – словно были они из какой-то другой жизни. Последние пол-этажа он одолел, здорово запыхавшись. Пошел по темноватому коридору, глядя на номера

комнат, и тут из 132-й вышла Маша Редкозубова, а за ней – ушастый очкарик в желто-синей ковбойке и штанах, видимо, никогда не знавших утюга.

– Здравствуйте, Маша, – сказал Вадим, бурно дыша.

Она всмотрелась в него, слегка прищурясь.

– А-а, Раечкин сосед! Как ты сюда попал?

Она, одетая в простенькую серую кофту и черную юбку, показалась Вадиму ниже ростом, чем в новогодний вечер.

– Я к тебе пришел.

– Военно-морской флот перешел в наступление. – Она коротко рассмеялась. – Юрик, – обратилась к очкарику, – ты иди к Семену, а я подойду попозже.

– Ладно, – сказал тот ломким голосом. – Только не задерживайся.

– Как тебя правильно зовут – Дима или Вадя? – спросила Маша.

– Как хочешь, так и зови.

– Хорошо, пусть будет Вадя. Ну, зайди.

Она ввела Вадима в комнату. Тут были четыре кровати, на одной лежала и читала книгу смуглая брюнетка в лиловом халате. При появлении Вадима она села, запахнув халат и сунув босые ноги в остроносые тапки.

– Лежи, Тамила, лежи, – сказала Маша.

– Чего я буду лежать, когда мужчина пришел. – Брюнетка взяла со стола чайник. – Схожу за чаем.

Она вышла, шлепая тапками.

– Сними шинель, Вадя. Почему у тебя такая красная физиономия?

– Так метель же. Здорово метет.

– Я по субботам домой уезжаю, в Кронштадт, а сегодня из-за метели осталась. Садись, Вадя. Зачем ты пришел?

– У нас двадцать четвертого культпоход в Александринку. На «Мать» Чапека. Вот я хочу тебя пригласить.

– Спасибо. – Маша обеими руками расправила волны своих волос. – Только я не смогу.

– Почему?

– Двадцать четвертого у нас заседание эс-эн-о.

– Что это?

– Студенческое научное общество.

– Ну, пропусти. Это же не обязательно?

– Не обязательно, но… – Маша запнулась.

– Понятно, – кивнул Вадим. – Юрик не велит.

– При чем тут Юрик?

– При том, что у него уши торчком.

– Ну знаешь! У него уши, а у тебя… у тебя прическа как гречневая каша!

Несколько секунд они сердито смотрели друг на друга. И – враз рассмеялись.

– Юрик – будущий ученый, – сказала Маша. – Его реферат о маленьком человеке в русской классике – просто сенсация. Юрика хвалил сам профессор Эйхенбаум.

– Я сразу заметил, что он молодец. А почему ты послала

его к Семену?

– Вот еще! Ты какой-то настырный, Вадя. Семен и Юрик – члены комсомольского комитета на филфаке. Мы составляем план культмассовой работы на полугодие…

– Маша, культпоход в Александринку просто украсит ваш план.

– Серьезно? – засмеялась она. А потом, разом согнав улыбку с лица: – А что это за пьеса Чапека – «Мать»?

Курсантов привез училищный автобус. Вадим остался у входа в театр, ожидая Машу. Сыпался с темного неба несильный снег. Вадим ходил между колонн, курил, а стрелки на его «Павле Буре» приближались к семи. Неужели не придет? – думал он с нарастающим беспокойством.

Маша пришла без пяти семь.

– Ой, чуть не опоздала! Привет, Вадя. Ты не представляешь, какая толкучка в трамваях.

– Почему это я не представляю? – проворчал Вадим.

Уже отзвенели звонки и погас свет в красно-золотом зале, когда они, протискиваясь в тесном ряду, нашли свои места. Свет-то погас (и пошел занавес), но курсанты, заполнившие последние ряды партера, своими нахальными взглядами очень даже разглядели статную девицу в синем платье с белым бантом. Кто-то негромко, но достаточно внятно пробасил: «Вот это бабе́ц!» А Павел Лысенков, рядом с которым оказалось место Маши, уставился на нее, до предела раскрыв глаза, и сказал:

– Здрасьте вам!

– Паша, ты смотри на сцену, – посоветовал ему Вадим.

На ярко освещенной сцене шло действие, заставившее притихнуть огромный зал Александринки. В некой неназванной маленькой стране назревают страшные события. Рушится семья интеллигентной, еще не старой женщины. Она потеряла мужа, офицера, погибшего где-то в Африке в схватке с туземцами, и старшего сына, врача, пожертвовавшего собой ради спасения туземцев от желтой лихорадки. У Матери остались еще четыре сына. И вот погибает Иржи, летчик, при испытании самолета в высотном полете. В стране вспыхивает гражданская война: народ восстал против деспотической власти, и в этой междоусобице погибают еще два сына – близнецы Петр и Корнель, оказавшиеся в противостоящих группировках. И тут на страну нападает – «в целях установления порядка» – соседняя большая и сильная держава. По радио звучит женский голос – призывает мужчин к оружию, к отражению агрессии, это голос родины, истекающей кровью. Рвется пойти добровольцем и Тони, последний сын Матери, 17-летний школьник, у которого еще пальцы в чернилах. Но Мать не хочет его отпускать. К ней являются умерший муж и погибшие старшие сыновья. Это не призраки, они как будто живые, и Мать ведет с ними страшно, до отчаяния напряженный разговор. Да, да, она знает, что они все исполняли свой долг. Она кричит им, умершим: «Да, свой долг… У меня тоже была своя слава – это были

вы. Был свой дом – это были вы. Свой долг – это были вы, вы, вы… Так объясните же мне, почему в течение всей древней, и средней, и новой истории одна только я, я – мать, я – женщина, должна платить такой ужасной ценой за ваши великие дела?!» Она кричит, заламывая руки: «…У меня ведь нет больше никого, кроме Тони… Я прошу вас, оставьте мне его! Ведь иначе мне не для чего будет жить… Неужели у меня нет никакого права на того, кому я дала жизнь? Неужели за все тысячи лет я так ничего и не заслужила? Прошу вас, дети, сделайте это для меня, для вашей выжившей из ума, замученной мамы, и скажите сами, что я не должна отдавать его… Ну, говорите же! Что вы молчите?»

А из эфира несется голос другой матери: противник из самолетов расстреливает школьников… торпедировал учебный корабль, на борту которого были кадеты морского училища, в их числе и сын этой женщины-диктора… «Ты слышишь, мама?» – спрашивает Тони… И Мать срывает со стены винтовку покойного мужа и протягивает ее своему последнему сыну: «Иди!..»

Будто мощной волной окатило зал, и он ответил этому трагическому «Иди!» долгим рукоплесканьем. Раз десять выходила на аплодисменты Мать – актриса Рашевская. Она улыбалась сквозь слезы, кланялась, принимала цветы.

– Спасибо, Вадя, – сказала Маша, когда спускались к гардеробу. – Очень сильный спектакль.

Она вытирала платочком влажные глаза.

Вадима окликнул Травников, стоявший в очереди к гардеробщице, жестом предложил занять место перед собой. Вадим познакомил с ним Машу.

Курсанты направлялись к училищному автобусу. – Поезжай, Вадя, – сказала Маша. – До свидания.

– Я провожу тебя. – Он взглянул на часы. – Еще полно времени.

Мимо памятника Екатерине, надменно взирающей с высокого пьедестала, они прошли к трамвайной остановке. Как всегда, там толпились терпеливые люди.

– Давай пойдем пешком, – предложил Вадим.

Они шли по Невскому, многолюдному и в этот поздний час. Свет витрин скользил по их лицам.

– Адмиралтейская игла опять подсвечена, – сказала Маша. – Как хорошо. Прошлой зимой, когда шла война и город был затемнен, казалось, что он вымер.

– Я все думаю об этой пьесе, – сказал Вадим. – Кажется, Чапек не дожил до тридцать девятого года, до оккупации Чехословакии. На самом деле чехи, когда немцы влезли, не оказали сопротивления.

– А что они могли сделать? Подумаешь, чехи! У Франции какая сильная армия была, и ту немцы за месяц разбили.

– У чехов армия тоже была не слабая. Но они не стали воевать. Чапековская Мать не отправила последнего сына защищать свою страну.

– У Чапека нет названия страны.

– Ну, кому непонятно, что он, чешский писатель, имел в виду Чехословакию… на которую нападает Германия…

– Хорошо, что у нас подписан с Германией пакт о ненападении.

– Хорошо-то хорошо, но… странно… Кричали про фашистов, что они разбойники, а Гитлер главный бандит. И вдруг подружились… разулыбились…

– Вадя, ну это же *политика*, как ты не понимаешь?

– Пытаюсь понять. – Вадим взглянул на профиль Маши, четко освещенный витринами Дома книги. – Ладно, оставим политику. Так ты в Кронштадте родилась?

– Нет, родилась в Череповце, мама там работала, а потом, мне два года было, мы вернулись в Кронштадт. Вообще-то мы кронштадтские, мой дед там и сейчас работает по ремонту пушек. А мой отец был матросом на линкоре. Он погиб в Гражданскую войну, при штурме Перекопа.

Так я впервые услышал о Машином отце. Потом и фотокарточку увидел: сидит матрос с суровым лицом, с закрученными кверху усами, с раздвоенным подбородком, в бескозырке, по околышу которой – крупными буквами – «Петропавловскъ»; рядом стоит молоденькая улыбающаяся девица, руку положив матросу на плечо. По другую сторону от матроса – тонконогая этажерка, на ней большая ваза с декоративными цветами.

– Маму зовут Капитолина Федоровна, – сказала Маша,

убирая фотоснимок в плоскую шкатулку, а шкатулку в тумбочку. – Она в морском госпитале работает.

– Ты на нее очень похожа, – говорю.

– Да, похожа. Вадя, сейчас в красном уголке начнутся танцы. Пойдем потанцуем.

– Тебе лишь бы потанцевать, – говорю.

В комнате, кроме нас, никого не было. Не упускать же такой редкий случай. Я привлек к себе Машу и стал целовать. Ее губы, сжатые сперва, раскрылись… начали отвечать на мои поцелуи. Мы сидели, прижавшись, на ее кровати, мои руки понемногу осмелели… Маша учащенно жарко дышала… я ласкал ее, целовал, целовал…

Маша вдруг резко выпрямилась, отбросила мои руки.

– Ты… ты слишком многого хочешь…

– Хочу, – выдохнул я. – Да, хочу… Люблю тебя…

Она всмотрелась в меня. В правом глазу у нее расширилось золотистое пятнышко. Волны волос омывали пылающие щеки.

– Вадим, – впервые назвала меня полным именем, – ты отвечаешь за свои слова?

– Да!

Маша опустила голову. Ее пальцы суетливо принялись застегивать пуговицы на кофточке.

– Ты мне не веришь? – спросил я.

Она посмотрела на меня, медленно улыбаясь, отведя обеими руками волосы со лба.

– Верю… как же не поверить… Постой. Хватит целоваться…

– Не хватит!

– На сегодня хватит! Ну успокойся, пожалуйста.

Маша пересела с кровати на стул. Тут в комнату вошла Тамила, шлепая остроносыми пестрыми тапками. Поставила на стол большой чайник, стрельнула в меня черными очами:

– Чего ты расселся, морячок, на кровати? Иди чай пить с вафлями. Вот такая пошла у меня жизнь. В дни увольнений, по вечерам, в любую погоду и непогоду я мчался в общежитие на Добролюбова. Прыгая через ступеньки, взлетал на пятый (с половиной) этаж, мысленно отправляя Машиных соседок вон из комнаты. Соседки были смышленые девочки, они, многозначительно улыбаясь, уходили. Даже Тамила, ленивое дитя юга, неохотно поднималась со своей кровати, брала чайник и выходила из комнаты. Примерно через час она возвращалась, ставила чайник на стол и возглашала: «Ну, нацеловались? Идите чай пить, you, turtle-doves[1]». (Она училась на английском отделении филфака.)

Счастливый февраль! Поймите же, я действительно – впервые в жизни – был по-настоящему счастлив. Ни спорт, ни морское учение, ни собирание марок, ничто на свете не сравнимо с влюбленностью в женщину. И с ее ответным чувством, конечно. Ты просыпаешься и засыпаешь с мыслью о ней. Тебе все удается – и штурманская прокладка, и завязы-

[1] Turtle-doves – голубки (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. автора.*)

вание морских узлов, и быстрые переключения на приборах в кабинете артиллерийской стрельбы. Да, я счастлив. Я удачлив. Я кум королю и сват министру.

Задумывался ли я о будущем? Ну, не то чтобы задумывался, – будущее словно бы мерцало, переливаясь цветными стеклышками, как в калейдоскопе. Само собой, по окончании училища мы с Машей поженимся. Или, может, раньше? Вон два курсанта последнего, четвертого курса – мичманы Кругликов и Крутиков – женились недавно, под Новый год. Им разрешили. Я видел их юных жен (кажется, они сестры), кудрявых и курносых, приходивших в училище на какой-то киносеанс. Как гордо шествовали эти мичманы под ручку с женами…

Двадцать третьего февраля, в День Красной армии и флота, у нас в училище был праздничный вечер. Я пригласил Машу. Мы сидели в дальнем (от президиума) конце актового зала, вполуха слушали традиционно занудный доклад начальника политотдела. Маша тихонько стала рассказывать о Гаршине, – я этого писателя тогда еще не читал, а она как раз начала читать: ей Гаршина «дали» для курсовой работы. Она увлеченно говорила о рассказе «Четыре дня», а я не столько вникал в содержание слов, сколько вслушивался в музыку ее голоса и смотрел, как она слегка помавает руками. Валька Травников, сидевший перед нами, обернулся – хотел, наверное, замечание сделать, чтобы перестали разговаривать во время доклада, но, посмотрев на Машу, промолчал.

Доклад благополучно завершился, и начался концерт самодеятельности. У нас ведь и музыканты были свои, и певцы, и танцоры, а один третьекурсник свистел всё, что хотите, – этот редкостный жанр назывался художественный свист.

– Какие у вас артисты! – восхитилась Маша. – А ты почему не выступаешь, Вадя?

– По причине отсутствия талантов, – говорю. – Я только в волейбол умею.

– Зато ты мастер целоваться, – шепнула она, смеясь.

– Это да! Это да! – подтвердил я, энергично кивая.

Потом начались танцы: «Хау ду ю ду-у, мистер Браун!» – вскричала радиола. Курсантов словно порыв штормового ветра подхватил, они так и кинулись в стихию фокстрота. Кружились, кружились в просторном зале синие воротники и цветные платья, – приглашенных девушек было немного, все они беспрерывно танцевали, галантные курсанты строго следили, чтобы ни одна не скучала, стоя у стены.

Танцевали и мы с Машей. Вот так, обнимая ее, я готов был плыть, под саксофонную истому, сколь угодно долго, бесконечно далеко. Танго – это замечательно придумали – где? – в Испании? в Аргентине? – неважно – это наш, советский танец – ах, это прекрасно – и вот что еще вам скажу, я ни разу не наступил Маше на туфли.

А теперь – вальс. Танцевать вальс я не то чтобы совсем не умел, а… ну, я решил вальс пропустить. Мы остановились у окна, но только я спросил Машу, не устала ли, как к ней по-

дошел Травников и пригласил танцевать. На меня он взглянул вопросительно, я кивнул – не возражаю, мол.

И вышел покурить. Вернувшись в зал, увидел: вальс продолжается, Валька кружит Машу и что-то говорит, а она смотрит на него и улыбается своей улыбкой… улыбкой, от которой у меня накат радости…

Вальс кончился, теперь грянула «Рио-Рита», я был готов ринуться в «Рио-Риту», но Валька, черт длинный, продолжал танцевать с Машей и все говорил ей что-то, а она улыбалась… А вот и Кругликов проплыл с юной курносой женой… А за ним Крутиков со своей юной курносой женой…

В очередной день увольнений я помчался сквозь вечерний снегопад на улицу Добролюбова. Снег был не колючий, мягко ложился на мою шапку. Как видно, оттепель начиналась. Да и весна не за горами. И вообще жизнь прекрасна и удивительна.

Маше нездоровилось в тот вечер. Она вяло ответила на мои поцелуи, уклонилась от объятий.

– Да что с тобой? – встревожился я. – Что у тебя болит?

Она помотала головой – ничего не болит, просто как-то… ну не по себе…

– Может, по женской части? – выпытывал я. – Тогда тебе надо к Райкиной маме, она хороший врач.

– Сиди спокойно, Вадя. Не надо мне к ее маме. Пройдет.

Я уже знал, что у Маши и Райки испортились отношения. И понимал, почему. На прошлой неделе я, перед тем как от-

правиться на Добролюбова, заскочил на полчасика домой, к маме. «Ой, Димка, – сказала мама, обняв меня, – наконец-то появился! Что случилось? Вас что, не пускают в увольнения?» Я вякнул что-то о большой учебной нагрузке. «Нет, Дима, нет. – Мама пристально глядела на меня. – На днях я видела Раю, тут на лестнице, мы поговорили, она сказала между прочим: “А ваш Дима загулял с моей подругой”. Что у тебя происходит, сын?»

А что происходит? Уже произошло: влюбился. Так и сказал я маме. Она понимающе покивала.

«Пройдет», – сказала Маша.

Но не прошло…

И в следующие вечера наших встреч она была как-то задумчива и непонятна. Ее тревожило нападение Германии на Югославию. Это действительно была *неприятная* новость, никто ей не обрадовался, хоть у нас и подписан с Гитлером пакт о дружбе. Немцы прямо-таки утюжили танками Европу. Но поскольку это нас впрямую не касалось…

И вообще, я полагал, что не столько германское вторжение в Югославию волновало Машу, сколько Гаршин. Она влюбилась в этого писателя с несчастливой судьбой. В ее глазах блестели слезы, когда она говорила мне о его нервных припадках, о его гибели (Гаршин бросился с четвертого этажа в пролет лестницы). «Его рассказы наполнены такой болью, что страшно читать, – говорила Маша. – Его мучила несправедливость… он будто сознавал ответственность за

все зло… такая совестливость… ты понимаешь?»

Как не понять? Она, повышенная совестливость, сквозь всю русскую литературу девятнадцатого века проходит, можно сказать, отличительной чертой.

Вот только я не понимал, что́ с Машей происходило.

Был на редкость тихий вечер апреля. Медленные, подсвеченные закатным солнцем, плыли в небе облака. Медленно плыли по Неве крупные обломки ледового покрова, взломанного весной. Я шел по набережной, вдыхая легкий весенний воздух и глядя на ледоход. Вон на бугристой льдине плывет чайка – села отдохнуть и плывет себе прямехонько в Финский залив. Неплохо устроилась!

По мосту Строителей навстречу катили велосипедисты с номерами, нашитыми на спины синих футболок. Я прижался к перилам, пропуская их, и крикнул:

– У вас что, гонки?

Но они не удостоили меня ответом. Знай себе крутили, крутили педали.

В комнате № 132 за столом сидели Тамила, в лиловом своем халате, и одна из соседок, толстенькая Катюша, они разглядывали какие-то фотокарточки. Я поздоровался.

– Привет, – сказала Тамила. – А Маши нет.

– Это я вижу. А где она?

– Уехала.

– Куда? В Кронштадт?

– Да, кажется, туда. Посмотри, какие интересные карточ-

ки прислал Катюше жених из Нарьянмара.

– Ну уж, жених! – хихикнула Катюша. – Учились в одном классе… Я буркнул: «До свидания», – и вышел. Что же это Маша не предупредила меня, что уедет в субботу в Кронштадт?..

– Вадя! – позвала Тамила, вышедшая следом за мной в коридор. – Погоди. – Она подошла ближе, вперив в меня мрачноватый взгляд черных глаз. – Вадя, она тебе не скажет, она сама еще не решила, ну, не решилась… А я скажу. По-моему, так будет честнее…

– Что хочешь сказать, Тамила? – спросил я, охваченный внезапным холодком нехорошего предчувствия.

– К Маше стал приходить один из ваших. Тоже курсант, у него тоже эти нашивки, – Тамила ткнула пальцем в мои «галочки» на рукаве, – только не две, как у тебя, а три. Сегодня он пришел, Маша его ждала, и они куда-то ушли. Вот… даже не знаю, как его зовут. Он похож на Столярова…

– Какого Столярова? – спросил я.

Но мне уже не были нужны уточнения. Я-то знал, как зовут его… неожиданного соперника…

– Ну, на артиста, который в «Цирке» играл.

Льдины плыли и плыли по Неве. Я, кажется, долго стоял возле сфинксов, глядя на ледоход. Темнело небо, зажглись фонари. Набью ему морду, думал я, сидя в Румянцевском сквере возле забитого ветками и прочим зимним хламом фонтана. Как же можно – мы ведь, кажется, друзья – взять и

вот так подло, ни слова не говоря, – взять и отбить…

Конечно, я на Столярова не похож. Не такой высокий… и походка у меня косолапая… Вместо белокурой прически у меня на голове нечто рыжеватое… как гречневая каша… Но все же я не урод! Нос у меня не кривой, уши не торчком! Не урод, не дурак!

Я криком кричал… ну, конечно, безмолвно…

После отбоя я долго лежал в кубрике без сна. На соседней койке привычно храпел Пашка Лысенков. Привычно подвывал во сне и скрежетал зубами курсант Шапкин (ему вечно снилось, будто он падает с лошади). Я встал и побрел в гальюн.

Там на подоконнике сидел и курил Травников.

– А я тебя поджидаю, – сказал он, поднявшись.

– Откуда ты знал, что я в гальюн приду?

– Знал. Нам поговорить надо.

– Морду надо тебе набить, – сказал я.

– Ты отлей сперва.

Не стал я бить Травникову морду. Только бросил резко:

– Не ожидал, что ты такой гад.

Он дернул головой, как от удара в челюсть. Сдержанно сказал:

– Понимаю твое состояние… Но пойми и ты… Дима, хочу, чтобы честно… Не хотел я отбивать ее у тебя. Слово даю, даже и в мыслях не было. Но… вдруг обрушилось…

– Врешь! Не было мысли, так не полез бы!

– Дима, клянусь, что не вру! Не хотел отбивать. Но на вечере в училище, когда танцевал с ней… разговорились мы… сперва, знаешь, шутливо, а потом… мне вдруг показалось, что она дрожит… Я спрашиваю: вам холодно? Нет, говорит, скорее жарко… Я говорю, говорю ей что-то, ну, трали-вали… а она смотрит на меня, и такое ощущение, что я тону… Дим, это так сильно нахлынуло, что не мог я, не мог, понимаешь, не смог устоять… Прости!

А у меня – ни слов прощения, ни осуждения. Такая горечь… Ну да, думаю, ты же *не тонешь*… ты раздвигаешь бревна, плывущие над головой… Молча повернулся я и пошел к себе в кубрик.

Вы понимаете, конечно: отношения с Травниковым у меня оборвались. Я избегал встреч в коридорах училища. Перестал приходить на волейбольные тренировки. Пусть Жорка Горгадзе подает ему мяч для топки… Кстати, я вскоре узнал, что именно на квартире Горгадзе встречаются Травников с Машей (родители Горгадзе, артисты Ленконцерта, или как там это называлось, часто уезжали в командировки, и квартира оказывалась в Жоркином распоряжении).

Такие вот дела.

А с Машей я однажды увиделся.

Было это в мае. Мама передала мне Оськино приглашение на концерт в консерватории, в котором он должен был выступить. У нас уже начались экзамены, тут не до концертов,

но все же… Ну, не хотел я Оську обижать…

Я выправил увольнительную (благо воскресенье было) и поехал. Концерт уже шел, когда я добрался до консерватории. На ярко освещенной сцене худощавая девица в длинном черном платье играла на рояле что-то быстрое. Я углядел свободное кресло в середине зала, прошел и сел, переводя дыхание. Пианистка играла все быстрее, быстрее и закончила такими мощными аккордами, что у меня в голове мелькнуло – как бы рояль не расколошматила, но ничего, обошлось. Девица встала, раскланялась под аплодисменты. И тут я заметил справа, через проход, во втором или третьем ряду, седую голову Розалии Абрамовны, а за ней еще две головы – каштаново-кудрявую Райкину и русую голову Маши.

Вот она, Маша, хорошо знакомым мне движением поправила волосы и повернула голову к Райке, они о чем-то заговорили… Да какое мне дело до них… но сердце мое колотилось у горла…

На сцену вышел вихрастый малый в тесном желтом пиджачке, с пятнистым галстуком, и объявил:

– Глинка. «Сомнение», слова Кукольника.

И запел. У него приятный оказался баритон. Хорошо он пел! Ему та самая девица в черном аккомпанировала на рояле. Впервые я этот романс слушал, и, знаете, он меня здорово пронял. Эти фразы – «Мне снится соперник счастливый…», «И тайно, и злобно оружия ищет рука»… – они были как удары тока… А финал какой!

Минует печальное время, —
Мы снова обнимем друг друга,
И страстно, и жарко
Забьется воскресшее сердце,
И страстно, и жарко
С устами сольются уста.

Я посмотрел на Машу. Через ряды бесстрастных голов я вопрошал безмолвно: ты слышишь?.. ты помнишь?.. хоть что-то шевельнулось в твоей душе?..

И вот дело дошло до Оськи. Он вышел на сцену в черном костюме, с черной бабочкой над белой рубашкой. Та же дева уселась за рояль. Оська каким-то сдавленным голосом объявил:

– Чайковский. «Размышление».

Мотнув головой, пристроил скрипку к горлу – и тронул смычком струны.

Я не меломан, нет, вполне обходился без музыки, ну нравились кое-какие песни, нас утро встречает прохладой, или, к примеру, любимый город в синей дымке тает, это недавно пел Бернес в картине «Истребители»… Я это к тому, что музыка жила где-то отдельной жизнью. А тут…

Тихо и печально льется мелодия, она, как облака, плывущие над Невой, подсвечена заходящим солнцем… нет, еще выше – заоблачная она, может, из космоса – нет, нет, это жалоба одинокой души – не жалеют, не хотят выслушать, по-

нять – но и не жалоба это, а может, усталость – сколько можно добиваться несбыточного – ну что ж, пора и отдохнуть – подумать о прожитой жизни и о той, что еще впереди, – и с новыми силами…

Мелодия угасла, умолкла скрипка. Оська, серьезный, бледный, с поджатой нижней губой, стоял на краю сцены, кланялся рукоплещущему залу. Ну, Оська! Триумфатор, да и только. Быстрым шагом он ушел за кулисы, а по окончании концерта спустился в зал, со скрипкой в футляре, его в проходе окружили, поздравляли. Я тоже подошел. Оська, увидев меня, протянул руку:

– Привет, Вадька!

– Привет, – говорю. – Ты здорово играл, молодец.

– То ли еще будет, – говорит Райка.

– А что будет? – спрашиваю.

Но Райка, холодно взглянув на меня, не ответила. Чем я тебе не угодил, гордячка? Я слышал, ты выиграла в женском шахматном чемпионате университета и будешь играть в городском турнире. Ты тоже, конечно, молодец. Вы оба молодцы…

А Розалия Абрамовна ответила вместо Райки:

– Будет «Чакона» Баха. Очень трудная вещь, Ося много над ней работает. Как поживаешь, Дима?

– Спасибо, – говорю, – Розалия Абрамовна. Хорошо поживаю.

Маша стояла тут же, в своем синем облегающем платье,

только без банта. Она улыбнулась мне, и было в ее улыбке нечто ускользающее… вопрошающее… непонятное…

Было бы глупо отвернуться с обиженным – или наигранно равнодушным – видом. Я шагнул к ней, поздоровался.

– Здравствуй, Вадя, – ответила она.

– Как поживает Тамила? – сказал я первое, что пришло в голову.

– Тамила? – Маша удивленно посмотрела на меня. – Ну, как обычно…

– А Катюша как? Замуж не вышла? За парня, который в Нарьянмаре?

Маша обеими руками отвела волосы со лба.

«Руки, – вспомнилось мне вдруг, – вы словно две большие птицы…»

– Вадя, – сказала она тихо, – я чувствую себя виноватой, но понимаешь…

– Понимаю, – не дал я ей договорить. – Ты ни в чем, решительно ни в чем не виновата.

Глава третья
Курсантская бригада вступила в дело

Перед отправкой Вадим Плещеев успел забежать домой. Пока шло формирование батальона курсантов-фрунзенцев, ни о каких увольнениях, понятно, и речи быть не могло, а тут, когда утвердили списки и наутро была назначена отправка, Вадим попросил Рудакова, командира роты, отпустить его – с матерью попрощаться. Рудаков, поджарый крикливый старлей, наоравшийся и набегавшийся за день, насупил белесые брови в раздумье – и разрешил. А чего бы не разрешить, он Вадима знал как исправного курсанта.

– В двадцать один час – чтоб был на месте, как штык, – сказал он строго. И, скользнув взыскующим взглядом вниз, добавил: – Ботинки почисть.

Вот же ходячий устав – не зря так прозвали Рудакова курсанты.

Вера Ивановна, к счастью, была дома.

– Ой, Димка! – Она порывисто обняла сына. – А я жду, жду тебя или хотя бы твоего звонка.

– Очень суматошные дни, мама. К телефону в училище не пробиться.

– Понимаю, понимаю. Сядь, Димка, отдохни. Как ужасно,

что война началась!

– Сволочь Гитлер! Знаешь, мне как-то не верилось в пакт о ненападении…

– А кто верил, Дима? Но все же мы считали, что пакт отодвинет войну.

– Мама, война не будет долгой. Мобилизация идет, скоро вступят в бой наши главные силы. Немцев остановят.

Вера Ивановна вздохнула.

– Знаешь, вчера отец забежал ко мне в библиотеку. Говорит, крупная немецкая армия нацелена на Ленинград.

– Остановят, – повторил Вадим, закурив. – Мама, значит, вот что. Формируется бригада курсантов военно-морских училищ. Пять батальонов. Я, значит, в батальоне фрунзенцев. Завтра нас отправляют.

– Куда?

Это у Веры Ивановны криком вырвалось. Та война, гражданская, хоть и минула давно, но в памяти сидела прочно: голод, холод, тиф… Нет, нет, не должно повториться!

– Мам, ну откуда я знаю? Это ж военная тайна. По слухам, задача будет – борьба с десантами.

Вера Ивановна отвела взгляд к окну. Светлый тихий вечер плеснул голубизной в ее встревоженные глаза.

Она захлопотала с чаем. Вадим вошел в кабинет. Дед Иван Теодорович, лысоватый, с подстриженной квадратной бородой, уставился на него с фотопортрета. Рядом с ним улыбалась Полина Егоровна – светлоглазая и как бы удив-

ленная чем-то, в закрытом до горла платье. Она умерла от сыпного тифа за год до рождения Вадима, ей было всего сорок четыре. Вадим знал, что бабушка (хоть и странно так называть ее, молодую) была очень хорошая, что она жила, по выражению Веры Ивановны, «в облаке поэзии». Она посещала частые в то время вечера поэтов, писала им восторженные письма, иногда и ответы получала. Однажды пришло коротенькое письмо от самого́ Блока – ох и гордилась и была счастлива Полина Егоровна. Как жалко, что это письмо затерялось в безумные дни девятнадцатого года, когда с тяжким топотом вторглись в квартиру новые люди и потребовали «уплотниться» – из четырех комнат оставили им одну. Затерявшееся при «уплотнении» драгоценное письмо Блока Полина Егоровна, конечно, помнила наизусть и записала его – там были такие строки: «Но мрак и пустоту страшного мира заполнят слово поэта и дух музыки…» Сохранилась от бабушки тетрадка в выцветшей голубой обложке, заполненная любимыми стихами, и первым там стояло стихотворение Хлебникова – его начало Вадим еще в детстве запомнил:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей…

Времири! Какое чудное слово придумал этот великий выдумщик. Соединил время и снегирей, – и возник поэтиче-

ский образ…

– Боюсь, боюсь, – говорила Вера Ивановна за чаем. – Война – это ужасно… Буржуйка, дым в комнате, вяленая вобла, чечевица черная…

– Ну, мама! – засмеялся Вадим. – Ты еще войну восемьсот двенадцатого года вспомни.

– Дима, знаешь, нас отправят на оборонные работы.

– Кого это – нас?

– Все население Ленинграда, которое не занято на заводах. Такой слух прошел.

– Это возможно, – сказал Вадим после паузы. – Близко к Питеру немцев не подпустят… но на всякий случай…

Он отпил из стакана, вставленного в дедовский серебряный подстаканник, и поднял глаза на мать. Перехватил ее встревоженный взгляд.

– Мама, не бойся. – Вадим погладил ее маленькую, в голубых прожилках, руку. – Мы сильнее немцев. Мы их остановим.

Простившись с матерью, Вадим сбежал на второй этаж и позвонил Виленским. Ему открыла Райка с пирожком в руке.

– Это ты? – сказала она, дожевывая кусок. – А я думала, Оська пришел. Заходи.

На ней был старенький ситцевый халатик неопределенного цвета. Она поправила густые каштановые волосы и указа-

ла Вадиму на блюдо, стоявшее на столе, наполненное желтыми пирожками.

– Ешь, Дима. У нас в буфете сегодня их продавали, тридцать копеек штука. Вкус довольно противный, как будто на мазуте их жарили, но ничего.

– А где Оська? – Вадим кинул на диван бескозырку, взял пирожок.

– Ой, он как утром убежал, так и нету его. В ополчение Оська записался. Весь их курс записался. Позавчера объявили, что переведут на казарменное положение, но что-то там не готово. Бегает каждый день. А что у тебя, Дим?

– Действительно, чем-то пахнет, – сказал Вадим, жуя пирожок. – Только не мазутом, скорее соляром. Я зачислен в бригаду курсантов военно-морских училищ. Завтра нас отправляют. Вот, забежал попрощаться.

– А куда отправляют?

– Не знаю, Райка. Это военная тайна.

– Да, конечно, тайна. А нас на работы отправляют.

– Вас? Студентов?

– Ну да. Девок всех и тех мальчишек, которых не взяли в армию как дефективных. Куда отправят? Это тоже тайна. Но говорят, что под Лугу.

– Луга! Ты представляешь, где находится Луга?

– Представляю. Мы с Машей на карте посмотрели.

– Это ж в сотне километров от Питера.

– Дима, я говорю то, что слышала.

Она вскинула голову и посмотрела на Вадима с таким видом, словно ее возмутило его возражение. Сдвинутые черные брови, сердитый взгляд, – ну, Вадим-то хорошо знал быструю переменчивость Райкиных настроений.

– Дим, знаешь, Маша дико беспокоится, что от Травникова как война началась, так и нет писем.

– Травников в Таллине. Старшекурсники там на кораблях, на практике.

– Маша знает, что он в Таллин уехал. Но ведь война. Их могли бросить на фронт.

– Все возможно, Райка. А мама где?

– У себя в больнице, на дежурстве.

– Ну ладно. – Вадим взглянул на часы. – Пойду.

– Димка, ты сказал «все возможно». Так давай попрощаемся.

Она, закрыв глаза, потянулась к нему. Вадим обнял ее. Их губы встретились в долгом поцелуе.

– Вот и попрощались. – Рая оттолкнула его. – Береги себя, слышишь?

– И ты береги себя. Счастливо!

Вадим надел бескозырку и вышел в коридор. Но тут прозвенели звонки, Рая побежала открывать. Вошел солдат в пилотке, – Вадим не сразу узнал Оську. Под мышкой Оська держал сверток, обмотанный газетами.

– Вадька! – вскричал он. – Здорово, гроза морей!

В свертке Оська притащил свои гражданские вещи – ру-

башку-тенниску, штаны и туфли. Красноармейская форма сидела на нем мешковато, и казалось, что его тонкие ноги болтаются в слишком больших сапогах.

– Я боец Второй дивизии народного ополчения, – объявил Оська не без торжественности. – Ясно вам, мадам э месье?

– Ясно, ясно, товарищ боец, – сказала Рая. – Съешь пока пирожок, а я обед разогрею. И позвони Ане. Она беспокоится, тридцать раз звонила.

Оська метнулся к телефонному аппарату, висевшему на стене возле старинного буфета, и, набрав номер, закричал в трубку:

– Анюта! Да, я! Что?.. Нет, нет, пока обучение… О-бучение! Да, завтра с утра начнем… Что? Анюта, сиди дома, я скоро приеду… Ну, через час! Пока! – Он повесил трубку, схватил пирожок. – Черт-те что, живет недалеко, на площади Труда, а в телефоне голос такой, будто она на Охте.

– А кто она? – спросил Вадим.

– Моя однокурсница. Какая вкуснотища! – Оська энергично жевал пирожок. – Да ты видел ее, – на концерте она мне аккомпанировала.

Вадим вспомнил худенькую девицу в длинном черном платье, – она здорово играла, ручки тонкие, а с какой силой ударяли по клавишам…

– Анька – это чудо, – продолжал Оська. – Богиня музыки! Она будет великой пианисткой, вот увидишь.

– А ты – великим скрипачом, да?

– Не знаю, – ответил Оська. – Я трудяга, ломовая лошадь. Анька схватывает на лету – и тему, и ритм, и настроение. Прямо моцартовская легкость… Мы с Аней решили пожениться. После победы, конечно.

Чертов Ксенофонтов, от него одни неприятности. Маленький, с выпученными глазами, он так и высматривает, к чему бы придраться. И раскрывает рот размером с городские ворота в Ораниенбауме, на проспекте Юного Ленинца. То заявляет претензию, что недодают сахар, положенный по норме (и, возможно, так оно и есть), то он недоволен, что сводки о положении на фронтах доходят до нашей роты с безобразным опозданием (верно и это, но надо же учитывать, что в полевых условиях жизни нету радио, газеты же привозят редко).

А сводки были плохие. Совершенно не похожие на песни, которые мы пели (помните? «Если завтра война, если завтра в поход… Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки…»). Немецко-фашистские войска продвигались с ошеломительной быстротой, грохотали не наши, а их танки. Была надежда, что их остановят под Псковом, на реке Великой, но немцы взломали оборону, и теперь она уже в Луге, сражение идет на лужском рубеже.

А мы, курсантская бригада, пока не вступили в дело. Мы патрулируем Приморское шоссе от Петергофа почти до Нарвы, и задача у нас – уничтожать воздушные десанты про-

тивника и охранять тылы Северного фронта от диверсантов. Кроме того, мы учимся сухопутному бою. Наш батальон разместился в старых бараках на окраине Ораниенбаума, недалеко от павильона Катальной горки. Этот павильон – роскошное строение восемнадцатого века с колоннадой и колоколообразным куполом – закрыт, этакий пережиток веселых времен. Что до катальной горки, по которой с грохотом неслись в тележках по врезанным колеям вельможи в париках и их дамы, то это прекрасное развлечение давным-давно закончилось, бревенчатый многометровый скат зарос кустарником. Ну а дальше на пустыре поставили щиты с мишенями, и мы палим в них лежа и с колена. И еще учимся окапываться саперной лопаткой, ползать по-пластунски и метать гранаты. Это, понятно, наука нехитрая – копай, ползи, кидай с размахом, а вот со стрельбой посложнее, винтовку пристрелять надо, приспособиться к ней. Я приспособился, а с меткостью полный порядок, я ведь со школьных времен – ворошиловский стрелок.

Воздушных десантов не было. Над нами простиралось удивительно чистое небо, ну ни тучки, ни облачка. Как будто мирное время на дворе, и цветут нарциссы, и у самовара я и моя Маша… Вот еще! Что за чушь лезет в голову…

Вот как было дело. Со стороны Питера въезжала в Ораниенбаум «эмка», а там как раз патрулировали Ксенофонтов и Дзюба. В «эмке» глазастый Ксенофонтов разглядел подозрительного пассажира и, недолго думая, выскочил с винтов-

кой наизготовку на шоссе:

– Стой!

Шофер тормознул у носков ксенофонтовских ботинок. Сидевший с ним рядом блондин средних лет в шляпе, в светлом костюме в мелкую клетку, выглядел как самый настоящий шпион.

– В чем дело? – спросил он с мягким иностранным акцентом.

– А ну, вылезай из машины! – потребовал Ксенофонтов.

Со шпионами у него был разговор короткий. Не слушая никаких объяснений, Ксенофонтов и Дзюба отвели блондина в ближайшее отделение милиции. Там пойманный шпион предъявил удостоверение, из коего явствовало, что он – зампредседателя Совнаркома Эстонской ССР. Ни больше и ни меньше…

– Откуда вы ехали? – недоверчиво спросил пожилой дежурный в отделении. – И куда?

– Из Ленинграта, – ответил шпион, нисколько не волнуясь. – Из комантировки. Я ету в Таллин.

Мне Дзюба рассказал, посмеиваясь, как все это происходило. Рассказал, как дежурный сержант вызвал по телефону милицейское начальство, а оно соединилось со штабом нашей бригады, и вскоре в душной комнате отделения стало тесно от приехавших высоких чинов, и появился сам командир курсантской бригады, наш грозный контр-адмирал. Он быстро во всем разобрался и принес извинения эстонскому

правительственному человеку, который в течение разбирательства сохранял невозмутимое спокойствие. Тот кивнул, сел в «эмку» и уехал к себе в Таллин. Комбриг, потрогав свой по-грузински солидный нос, внимательно посмотрел на Ксенофонтова и сказал: «Благодарю за бдительность, товарищ боец. Но не надо доводить ее до глупости». И Ксенофонтов выпучил свои глазенапы и гаркнул: «Есть не доводить, товарищ адмирал!»

А вечером следующего дня, когда мы после ужина вышли покурить, меня подозвал Рудаков, наш ротный командир. На его тощем, красном от загара лице были строго сдвинуты белесые брови.

– Плещеев, – сказал он, закурив папиросу, – ты хорошо знаешь Ксенофонтова?

– Да нет, товарищ старший лейтенант, – говорю, – он же с первого курса. А что такое?

– Ты, как командир отделения, присматривай, чтоб Ксенофонтов не выкинул чего-нибудь. Знаешь поговорку: вели дураку молиться, он себе лоб расшибет?

– Знаю.

– Ну вот. Бдительность, конечно, нужна, но – без глупостей. Ты понял?

Разумеется, я понял. Комбриг, наверное, получил взбучку из высоких сфер: что это, дескать, позволяют себе ваши курсанты, наведите-ка порядок, контр-адмирал. Ну а он, само собой, дал нагоняй нашему комбату, тот воткнул ротно-

му, и вот Рудаков добрался до нижней ступеньки лестницы – до командира отделения. То есть до меня.

Вообще-то я не очень обрадовался, когда меня назначили командиром отделения. Командовать курсантами – я думаю, это не легче, чем работать в цирке дрессировщиком белых медведей. Ведь каждый из них… каждый из нас воображает себя будущим адмиралом Нахимовым… или Крузенштерном, в конце-то концов…

Тут я услышал: у нашего воспитательного разговора появился как бы слабый звуковой фон.

– Ты понял, Плещеев? – повторил ротный.

А я стоял, вытянувшись как столб, и вслушивался в далекий гул. – Курсант Плещеев, почему не отвечаете? – рассердился Рудаков.

– Товарищ старший лейтенант, – говорю – прислушайтесь… по-моему, это канонада.

С минуту мы молча стояли за углом старого барака, на краю поля, служившего нам стрельбищем, и вслушивались в гул, все более явственно доносившийся с юга.

Да, точно – это была канонада.

Когда на станции Веймарн мы, курсантский батальон, повыпрыгивали из теплушек и принялись разгружать вагон – ящики с боеприпасами и провиантом, – я сразу ощутил давление неба. После недавней бомбежки в Веймарне горели какие-то склады, клубящиеся черные тучи расползались по

небу, и так уж мне почудилось, что оно, небо, уплотнилось, воздух выгорел, и остался только дым, дым…

Но, что бы там ни причудилось голове, а руки делали свое дело. Разгрузив вагон, после короткого перекура батальон длинной колонной двинулся к Кингисеппу. Этот город на правом берегу Луги обороняли части 8-й армии, сильно измотанной, обескровленной в непрерывных боях. Им в помощь шли батальоны 2-й бригады морской пехоты, еще не закончившей формирование, и вот – наш курсантский батальон.

Шли форсированным маршем. День клонился к вечеру. Солнце – размытый в клубах дыма багровый, как свежая рана, фонарь – низко стояло над полем, над безлюдным поселком с полуразрушенной церковью, над поникшими посадками. И уже завиднелись дома в огородах на окраине Кингисеппа, когда из дымных полос вывалились два самолета и пошли вдоль дороги, присматриваясь.

– Воздух! – орали командиры в колонне.

Курсанты, понятно, сыпанули в обе стороны – в кюветы, в посадки, в кусты. Самолеты, развернувшись, с воем пошли обратно, снижаясь и расстреливая дорогу из пулеметов, прихватывая и ее обочины.

Так мы впервые увидели «мессершмитты» – совсем не похожие на наши «чайки» и «ишачки», у них были острые хищные носы, и скорости другие. При первом этом налете потери в батальоне были небольшие: четверых поранило, одного

из них тяжело.

Первые дни и ночи в обороне были какие-то бестолковые. Армейское начальство сперва разбросало роты нашего батальона в своих боевых порядках, мы стали окапываться близ их траншей, нам кричали заросшие, небритые солдаты в мятых пилотках: «Эй, морячки! Ишь, чистенькие какие… На каком корабле приплыли?.. Махорочкой не разживемся у вас?» Ночь прошла беспокойно, противник вел огонь, так и называющийся: беспокоящий, мы в неглубоких своих окопах не очень-то спали, да и как заснешь, если под головой угловатый и жесткий (наполненный патронами в обоймах, ручными гранатами и несколькими банками консервов) вещмешок? Да и холодна ночь в поле, хорошо хоть, что родной бушлат надет.

А ранним утром вместо завтрака – артобстрел. Лежишь в окопе, носом в землю, и нарастающий свист каждого снаряда будто нацелен в тебя, и грохочущие черные кусты разрывов обдают твой окоп черным песком, тротиловой вонью. Было страшно, страшно. В нескольких сантиметрах от моей головы шлепнулся осколок – зазубренный, горячий, я схватил его, обжигая ладонь, и сунул в карман бушлата.

Артобстрел передвинулся влево. Я выглянул из окопа. Разрывы снарядов грохотали на улице городской окраины, на огородах. Там белая коза, привязанная к штакетнику, забытая бежавшими хозяевами, отчаянно билась, кидалась из стороны в сторону. Вдруг из соседнего окопа выскочил ма-

ленький человек в перепачканном бушлате, с винтовкой за спиной, и, согнувшись, побежал туда, к огородам.

– Ксенофонтов! – заорал я сквозь грохот разрывов. – Назад! С ума сошел?!

Ему и другие ребята кричали, материли его, – Ксенофонтов не слышал. Ну сумасшедший!.. Добежал до козы, упал, пережидая очередной разрыв… Эй, ты живой, Ксенофонтов?!. Сквозь рассеивающийся дым мы увидели: он полоснул ножом по веревке… белая коза скачками пустилась в огороды… Ксенофонтов свистнул ей вслед и, согнувшись, побежал обратно…

Добежав до окопа, повалился навзничь, бурно дыша. Я посмотрел на его мокрое от пота лицо с выпученными глазами и только и сумел сказать, качнув головой:

– Ну, Ксенофонтов!

В тот день мы отбили две атаки. Шли бронемашины с пулеметами, а за ними бежала пехота – в первый раз я увидел немецких солдат в зеленых мундирах, в касках – первый раз стрелял в живых людей – во врагов, напавших на мою страну, – в одного точно попал, он будто споткнулся об мою пулю и рухнул ничком – потом, когда их цепь распалась и повернула обратно, я видел: «моего» подхватили двое и потащили – может, я не убил его, а ранил.

Спустя часа три атака повторилась, но пришлась не на наши позиции, а на соседей справа, но и нам досталось от артогня – вначале немецкого, а потом и от нашего, когда пуш-

ки Лужского укрепленного сектора стали лупить по немецкой мотопехоте, вклинившейся в позиции соседей. Оглохший, почти задохнувшийся в смрадном дыму, я видел, как Рудаков в своем окопе накручивает ручку полевого телефона и что-то орет в трубку, а лицо у него залито кровью. Как меня не убило в тот день – понять трудно.

Да и вообще трудно было что-либо понять в том, что́ происходило. Дни и ночи перемешались, их заволокло дымами неутихающего сражения. Противник, по слухам, прорвался на правый берег Луги в районе Сабска и села Ивановского и теперь давил на Кингисепп – это давление нарастало, мы отошли на разрушенные артогнем улицы, засели в развалинах домов, – вдруг армейское начальство приказало поредевшим ротам батальона ранним утром начать контратаку – выбить группу немецких мотоциклистов, прорвавшихся к пристани. Мы примкнули к винтовкам штыки и пошли в указанном направлении – из кривого переулочка выскочили на Старо-Ямбургскую улицу, спускающуюся к набережной, – там возле одноэтажного здания стояли мотоциклы, а из черных выбитых окон ударили автоматы – мы упали животами на булыжник – свист очередей над головой – страшно, страшно – как же подобраться к ним на бросок гранаты – а как иначе, только по-пластунски – мы медленно поползли вперед…

Слева тянулось приземистое краснокирпичное строение, мы доползли до его угла – вдруг из-за этого угла грянуло рас-

катистое:

– Курсанты, впере-о-од!

Оттуда побежали с винтовками наперевес – тут и я скомандовал своим ребятам: «Гранаты к бою! Бегом вперед!» – мы вскочили, припустили во весь дух, влились в цепь атакующей роты – да какая цепь, бежали черной толпой – орали, матерились – кто-то падал с разбегу – кому везет в атаке, а кому нет – но огонь автоматчиков редел, стихал! – вон они, немчура, повыскакивали, с автоматами на шее, кинулись к своим мотоциклам – а ну, гранатами их, ребята! – уже можно достать…

Разрывы, разрывы, разрывы гранат – вой мотоциклетных моторов – успели удрать, сволочи, помчались к мосту, на ту сторону Луги, – нет, не все удрали! – в рассеивающемся дыму видим: лежат, руки разбросав, убитые немцы – а вон убегают двое – к мосту бегут, к разбитому вагону на железной дороге – за ними припустили ребята – один немец остановился, от живота ударил очередью – кто-то из бегущих за ними упал…

И еще из безумного этого утра запомнилось мне, врезалось в память: два немца, схваченных в плен, оба в кожаных шлемах, мотоциклисты, сидят понуро на краю тротуара – и Дзюба, страшно матерясь, вскинул винтовку на одного из них, сейчас выпалит…

– Отставить, Дзюба! – заорал Рудаков, с обвязанной головой, с наганом в руке.

– Он Сережку убил, Ксенофонтова! – выкрикнул Дзюба. У него глаза грозно пылали.

– Не стрелять в пленных! – прохрипел Рудаков.

Немец трясущейся рукой стянул шлем с белобрысой мальчишеской головы. Глядя на нас ненавидящим взглядом, пробормотал:

– Schwarze Teufels[2]…

Я не вел счета времени, дни и ночи перемешались в неумолчном реве пушек обеих сторон, – но не менее десяти суток части 8-й армии и мы, морская пехота, держали Кингисепп. Тихая Луга, обтекавшая город, под ударами артиллерии вскидывала огромные фонтаны воды, смешанной с илом. Дымились ее обожженные берега.

В ночь на 16 августа мы оставили Кингисепп. Оставили в братской могиле на лужском берегу несколько десятков бойцов нашего батальона. Оставили в окопах и в завалах свою ярость и боль. Мы уходили уже не теми зелеными необстрелянными юнцами, какими пришли сюда. Не соблюдая строя, небольшими группами молча шли бывшие мальчики, неся оружие и снаряжение. Давно не бривши еся и не умывавшиеся, шли в обтертых об разоренную землю бушлатах и брюках, не удобных для сухопутных боев. Скрипело под нашими ботинками выбитое оконное стекло. Ночь была темная, новорожденный тонкий месяц расходовал очень мало света на освещение нашего печального пути. Я пытался прочесть

[2] Черные дьяволы (*нем.*).

на углах уцелевших домов название длинной улицы, по которой мы выходили из города, получалось не то Кряковское, не то Криковское шоссе. Наверное, Криковское. Крик. Кричал покидаемый нами полумертвый город.

Что было хорошо на новом рубеже обороны, занятом курсантским батальоном, так это речка, или, скорее, ручей, протекавший сквозь перелесок, такой красивый, что хотелось назвать его, как называли прежде поэты, дубравой. Дубов там, впрочем, не было, а стояли березы вперемешку с ивами, свесившими длинные ветви над ручьем. В то лето, надо сказать, стояла на редкость хорошая погода – солнечная, с ясным небом. Природа как бы показывала себя во всей красе, безмолвно взывая к людям: безумцы, перестаньте губить меня… и себя…

Мы рыли траншеи, зарывались в землю, – мы знали уже, что только она, земля, нас защитит.

Двое суток перед этим, а может, трое мы питались всухомятку – сухарями и консервами, уже обрыдли бычки в томате, главная наша еда. А тут, ближе к вечеру, прикатили наконец-то полевые кухни – вот же радость была – пшенка, горячая блондинка с волокнами мясных консервов. Из ручья ребята натаскали в котелках воды, ее вскипятили и пили с сахаром вприкуску.

– Прям как в кафе «Норд», – высказался Дзюба, осушив свою кружку. – Теперь по бабам бы пойти. Не знаешь, как

называется этот город?

Он ткнул пальцем в плотную группу строений, видневшуюся позади нас, за перелеском, на пологом холме.

– Котлы, – сказал я. – У ротного на карте я видел.

– Ну, бабы и в Котлах живут. Они везде, где есть жизнь.

– Ты их вряд ли заинтересуешь. Зарос черным волосом, и уши опухшие.

– Как это – опухшие уши? – удивился Дзюба.

– От недостатка курева, – пояснил я.

Это была истинная правда – не опухшие уши, конечно, а перебои с табачным довольствием, что, в общем-то, объяснялось не только вечной негибкостью службы тыла, но и частыми передвижениями переднего края.

– Ты на себя посмотри, Плещеев, – проворчал Дзюба. – Отрастил рыжие усы, как таракан, и ходишь радуешься.

Николай Дзюба, грубоватый малый с дерзким прищуром черных глаз, был, как и я, коренным ленинградцем и моим однокурсником. Но дружбы между нами не было. Мы однажды, еще на первом курсе, чуть не подрались. По утрам, знаете, небольшие очереди бывали у умывальников, так вот, как-то раз я умывался, вдруг меня так толкнули в бок, что я отлетел от умывальника, стенку обнял. «Ты чего пихаешься?!» – заорал я и пошел, мокрый до пояса, на Дзюбу: это он толкнул. Драка была бы непременно, но Валька Травников живо встрял между нами, раскинув руки: «Тихо, тихо, вы, петухи боевые!» Дзюба, глаза упрятав в щелки, орал: «А че-

го он полчаса умывается? Рожу ополоснул, и всё, отойди!» Неохота вспоминать… Но вечером того же дня в гальюне я курил, сидя на подоконнике, вдруг он подошел, Дзюба, и говорит: «Дай прикурить. – И, резанув черным взглядом: – Выяснять отношения будем?» – «Нет, – говорю, – нечего выяснять». – «Есть чего. Твой пахан, знаю, герой штурма Кронштадта. А мой пахан тоже в штурме участвовал». – «Ну, – говорю, – значит, оба они герои. Дальше что?». «А дальше, – объявляет Дзюба, выпустив струю табачного дыма, – получилась большая разница. Твой пошел учиться, вышел в начальство…» – «Никакое не начальство. Журналист он». – «Журналист все равно что начальство. А мой остался служить в Чека, в комендантском взводе. Шоферюгой. Понял?» – «Ну и что?» – «А то, что в ночную работу попал. Опять не понял? Которых там, в подвале, по ночам расстреливали, пахан на грузовике крытом в поле вывозил. В место захоронения». Опять Дзюба струю дыма вытолкнул. Я молчал, отвернувшись. «Работа не пыльная, – продолжал он, – деньги платили, только вот – снились паха-ну эти… Под утро приедет, ляжет спать – вдруг как вскинется с криком… Стал водкой сны глушить. Мать: “Уйди, уйди с работы этой”. А его не отпускали». Дзюба умолк. «Так и не отпустили?» – спросил я. «Отпустили, когда батя помер. От ци… забыл, слово мудреное… ну когда печень загубил напрочь». – «Сочувствую», – говорю я и соскочил с подоконника. А Дзюба: «Он мне перед смертью знаешь что сказал? “Колька, никогда не иди на

ночную работу", – вот что сказал и матом как покроет их… на кого работал… с тем и помер…» Я еще подумал после того разговора, что он, Коля Дзюба, пошел в военно-морское училище, чтобы отцовскую загубленную жизнь как-то… ну, уравновесить, что ли…

Мы сидели на бруствере свежевырытой траншеи. Пахло землей и чистым, не задымленным воздухом. Если б не канонада, доносившаяся с южной стороны, и не вереница беженцев на грунтовой дороге, ведущей в Котлы, то могло бы показаться, что нет никакой войны.

Вот она, война, совершенно не похожая на ту, из довоенных песен. Женщины и дети, старики, бредущие по дороге, катящие тележки и коляски со своим скарбом. Куда идете? Где найдете пристанище, пропитание, кров над головой? Люди – как осенние листья, сорванные с веток штормовым ветром…

Очень хотелось курить.

– Что? – спохватился я, что не слушаю Дзюбу. – Что ты сказал?

– У него старший брат, говорю, капитаном плавал на буксирном пароходике, так он матросом к нему пошел…

– Ты о ком?

– Да о Сереге, о Ксенофонтове. У тебя что, уши заложило? Нормально плавали они по озеру, по Онежскому, значит, а потом брательник какой-то ворованный груз принял на борт, так Серега разругался с ним и ушел. Списался с бук-

сира и пошел заканчивать десятый класс. Они, братья, детдомовские оба, безотцовщина. Серегу некоторые граждане дурачком считали. Вот ты, например.

– Ничего я не считал…

– А он только хотел, чтоб все было правильно. Ну, как учили.

– Жалко Ксенофонтова, – говорю.

– И очень за свой Петрозаводск беспокоился – чтобы финны его не сцапали.

Тут наш разговор прервал Ваня Шапкин. Подошел, быстрый и легкий, со своей улыбочкой, и говорит:

– Пляшите! А иначе не дам.

Ну, плясать – это как раз по его части: Ваня лучший плясун у нас в училище, на концертах самодеятельности отплясывал так лихо, что тяжелая люстра раскачивалась.

Догадаться не трудно: где-то Шапкин разжился табачком.

– Давай, давай, Ваня, – тянет к нему Дзюба свою ручищу. – А то уши опухли. Плясать потом будем.

Из своего кисета, похожего на варежку, Шапкин сыплет нам на газетные клочки драгоценный в окопной жизни продукт – рыжую махорку. На его худеньком веснушчатом лице сияет улыбка победителя. Мы сворачиваем цигарки, склеиваем жадной от нетерпения слюной – и прикуриваем от Ваниной спички. Ох, первая затяжка – какое наслаждение! А Ваня садится рядом, тоже закуривает и рассказывает, что ходил вон туда, влево от наших траншей, а там соседи окапы-

ваются – знаете, кто? – ребята со Второй бригады морпехоты, вот кто! Их в Кронштадте формировали. Как узнали, что мы, курсанты с Фрунзе, имеем нужду в куреве, так и отсыпали…

Я вполуха слушаю скороговорку Шапкина, наслаждаюсь впусканием в организм вкусного дымка. Тут и Павел Лысенков появляется – учуял курсантским нюхом махорочный дух. Паша, как и я, командир отделения. Он, можно сказать, полностью очнулся от спячки, одолевавшей его в училище. Ну, война, понятно, любого соню разбудит.

Между прочим, нас с Пашей Лысенковым не только училище объединяет. Еще и то, что наши отцы в двадцатые годы учились на командирских курсах и в составе сводного полка штурмовали мятежный Кронштадт. В отличие от моего отца, старший Лысенков курсы окончил и служил, по словам Паши, в береговых частях флота.

Паша смолит махорку и авторитетно высказывается о сложившейся вокруг обстановке. Да, слева от нас – бригада морской пехоты, а справа, по ту сторону дороги, окапывается Вторая дивизия народного ополчения. Он, Лысенков, слышал, как наш комбат говорил, что эта дивизия сильно потрепана в районе Поречья и Ивановского; да оно и понятно: ополченцы вовсе не обучены военному делу.

Вторая дивизия народного ополчения?.. Меня как током ударило: не в этой ли дивизии Оська Виленский? Да, да, в тот вечер, когда я с ним прощался, Оська, с недоеденным

пирожком в руке, торжественно объявил, что он боец Второй… Ах ты ж, черт побери…

А Паша Лысенков скрутил себе вторую цигарку из шапкинской махры (Шапкин у нас безотказный) и продолжает развивать стратегические соображения. Немец, дескать, уже не так силен, как в июле, на лужской линии его чуть не месяц держали, да и держали бы еще, если б не ошибки командования, – вот слух прошел, будто генерала, который командовал лужской обороной, арестовали и вообще расстреляли.

Ранним утром, только заалел восток и очнулась от сна, зашелестела на ветру «дубрава», появился двухфюзеляжный самолет-разведчик по прозвищу «рама». Обстрелянная зенитной батареей, «рама», набирая высоту, улетела. Но главное-то она высмотрела – новый рубеж обороны.

И вскоре налетели бомбардировщики – девятка «юнкерсов». Тяжелым грохотом, огнем и дымом наполнилось небо. Одна из бомб рванула рядом с траншеей, в которой сидели, пригнувшись, Вадим Плещеев и парни его отделения. Толчок горячего воздуха чуть не выбросил их из траншеи, земля осыпалась, уши заложило. Все же Вадим услышал оборвавшийся стон. Дзюба лежал на дне траншеи, рука, прижатая к горлу, была в крови. Вадим прокричал Шапкину в ухо, чтобы Макарова, санитара, позвал, и наклонился над Дзюбой. Осколок, как видно, ударил его в левую ключицу и прошил, может, грудную клетку наискось. Дзюба хрипел, когда

Вадим с Макаровым стянули с него фланелевку и тельняшку и бинтами из индивидуальных пакетов стали перевязывать ему грудь. На ее левой стороне, заливаемой кровью, можно было прочесть синие буквы давнишней наколки: «Нет щастья в жизни».

Вадим спросил Макарова, сможет ли дотащить Дзюбу до батальонной медсанчасти, до ее палаток за лесочком было километра полтора. Макаров, здоровенный бровастый малый, сказал: «Дотащу». Тут Дзюба приоткрыл щелки черных глаз и прохрипел: «Мало пожил на свете». – «Поживешь еще», – сказал Вадим. Но – понимал он, что Дзюба с таким ранением не жилец…

Пауза, после того как «юнкерсы» отбомбились и улетели (один из них, подбитый зенитчиками, тянул за собой черный длинный хвост), была недолгой, начался артобстрел. Из-за перелеска рявкнули в ответ 76-миллиметровые пушки бригады морпехоты, какое-то время длилась артиллерийская дуэль. Потом пошла мотопехота противника, атаку отбили, и опять, ближе к вечеру, налетели бомбовозы – долгий день угасал в адском грохоте разрываемого железа – в дыму и вони тротила – в стонах раненых. Ночь накрыла поле боя черно-багровым пологом. В воронке от бомбового удара похоронили троих курсантов из отделения Вадима. По всей линии обороны закапывали в землю, в братские могилы, погибших бойцов. Штабные подсчитывали потери. Полевые кухни, уцелевшие от огня, срочно варили кашу. Рудаков кричал

сорванным голосом в трубку полевого телефона – требовал от боепитания срочного пополнения боезапаса – патронов, дисков для «дегтярей», бутылок с горючей смесью для отражения танковых атак.

Вадим, наевшись пшенной каши, лежал в траншее, закрыв усталые глаза. Ворочал в тяжелой голове трудные мысли. Если так и дальше пойдет, думал он, то дело совсем плохо… Куда подевалась наша авиация, сталинские соколы… только немец в небе… Ну, еще две, еще три атаки отобьем, а дальше?.. Некому будет отбивать, вот что плохо… мы помрем тут, а кто загородит немцу дорогу на Котлы… на Ленинград…

А жизнь-то короткой оказалась – ну что поделаешь… такая судьба… вот маму жалко – каким долгим плачем зайдется мама, когда узнает, что я погиб… только мама и пожалеет меня… Хорошо бы поспать хоть немного, чтоб сил набраться для будущего дня…

Костер разгорелся славно. Потрескивая, его языки выбрасывают в темное небо огненных мух. Хороший костер! А все сидят вокруг него и поют под баян: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих…» И, конечно, концерт самодеятельности. Ему, Вадиму, товарищ Лена, вожатая отряда, сказала, чтоб прочитал какое-нибудь стихотворение. И он, Вадим, декламирует, ладонью прикрывая лицо от жара костра:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей…

«Вадя, что за стихи у тебя? – говорит товарищ Лена, обеими руками раздвигая со лба волосы, два русых крыла, и строго глядя светло-карими глазами. – Что за времири?» А он, Вадим, тоже удивлен: да это не товарищ Лена, это же Маша… ну да, Маша Редкозубова… откуда она взялась тут, в пионерлагере под Сестрорецком?..

Медленно, трудно возвращалось сознание. Повернув голову, наполненную болью, Вадим Плещеев обнаружил себя в тускло освещенной большой комнате с зашторенными окнами. Слева и справа лежали на койках люди, ходили женщины в белых халатах, и было видно, что они говорили меж собой и с теми, кто лежал, рты разевали, – но их голосов Вадим не слышал.

– Я оглох, – сказал он.

Но и собственного голоса не услышал.

Услышала проходившая мимо сестра, или, скорее, няня, немолодая, с озабоченным лицом. Она что-то ему сказала, Вадим на всякий случай кивнул. Нянечка принесла белую посудину и сделала знак, чтобы он приподнялся, – Вадим отрицательно поворочал головой. Вот еще… этого еще недоставало…

Теперь он вспомнил. Три дня они под Котлами отбивали атаки мотопехоты, а утром четвертого дня немцы обрушили на линию обороны мощную артподготовку и снова пошли. Основной удар в тот день пришелся как раз на рубеж, где держал оборону батальон курсантов. Сумасшедший день, страшные потери…

Он понимал, что уцелел в боях, но – сильно контужен. Медсестру, наклонившуюся над ним со шприцем для укола, спросил, где он лежит и давно ли, но ответа ее не услышал.

Задремал было, но вдруг тронули его за плечо, потрясли слегка. Он открыл глаза и увидел худенькое веснушчатое лицо Шапкина.

– Ваня, – сказал обрадованно, – ты живой… Ваня, я ничего не слышу… Ты найди бумагу, напиши, где я лежу… как сюда попал… Ваня, ты слышишь?

Шапкин кивнул, улыбка на его лице сменилась озабоченным выражением. Где тут найдешь бумагу и карандаш? Все же он выпросил у дежурной сестры и то, и другое. На обороте старого рецепта крупно написал: «Лежиш в Рамбове в госпитале».

Вон как! – удивился Вадим. В Рамбове!

Он знал, конечно, что моряки для краткости так называют Ораниенбаум.

– Значит, батальон вывели из боя? – спросил он.

Шапкин энергично закивал, заговорил, но умолк и развел руками.

Неужели я совсем оглох? – Вадим испугался этой мысли. – «Лежишь», – сказал он, – надо с мягким знаком писать.

– А то я не знаю, – самолюбиво ответил Шапкин. – Ладно, поправляйся. Хоть и не слышишь. Я еще приду.

И верно, спустя два дня он снова пришел. Как раз в тот день глухоту Вадима прошибла артиллерийская стрельба. Он сразу понял: били орудия крупного калибра. Может, форты Кронштадта. Неужели немец уже в пределах дальности их огня? Что же творится на фронте?

Шапкин принес ему курево. Помог Вадиму добраться до гальюна. Вадим шел трудно, его пошатывало, хоть за стены хватайся. Шаркал разношенными больничными тапками.

Закурили в гальюне. Шапкин сыпал скороговоркой:

– Ну да, в тот день, когда тебя контузило, батальон, можно сказать, перестал быть – продержались до вечера, но потери – страшное дело! – в нашей роте почти всех выбило, ротный, Рудаков, тоже погиб – как стемнело, так батальон – ну, то что от него осталóсь, – приказали вывести из боя – мы с Лысенковым тебя вытащили и повели – ты сам не мог – шли до перекрестка дорог – а Котлы горели, как костер, – почти что до рассвета плелись, потом на машинах – сюда, в Рамбов, – а вчера сказали, что наша бригада расформирована – вот так и живем, Плещеев.

От угрожающей обстановки, а может, просто от природы молодого организма, Вадим быстро пошел на поправку. Начальник отделения, женщина-военврач, не хотела его выпи-

сывать, очень уж тяжелой была контузия, но Вадим упрямо стоял на своем: «Я здоров, спасибо, прошу немедленно выписать». – «Ты же за стенки держишься, матрос», – сказала начальница. «Нет, не держусь!» – Вадим в доказательство прошелся строевым шагом по ее кабинету. Она устало махнула рукой, спросила, знает ли он, где его часть.

В канцелярии Вадим получил справку о выписке, свое удостоверение и бумажник, в котором были в целости мамина фотокарточка и сто тридцать три рубля денег. Получил, конечно, и одежду. Чьей-то доброй рукой были вычищены бушлат и брюки (хотя земляные пятна от окопной жизни не исчезли). Вот вещмешка не было – остался, наверное, вещмешок в траншее, где его засыпало… винтовку Шапкин прихватил, когда вытаскивал Вадима, а мешок… да черт с ним… только вот бритву жалко… и осколок от первого снаряда кто-то выбросил из кармана бушлата… а кому он мешал?..

Нянечка, добрая душа, принесла ему чью-то бритву-безопаску. Лезвие было тупое-претупое, насилу отскреб Вадим щеки и подбородок, а усы оставил. Ну рыжие они – ну и что? Уродовать тупым скребком верхнюю губу? Дудки! Сойдет и так.

Выйдя из госпитальных дверей, Вадим постоял немного, прислушиваясь к канонаде. Тяжелые орудия били, как ему показалось, отовсюду. Может, и корабли с рейда вели огонь. Близкие удары артиллерии неприятно отдавались толчками

в висках – все же голова у него, Вадима, была еще нехорошая. Он медленно побрел к казарме, адрес которой дал ему Шапкин. Но прежде разыскал почту и там написал открытку матери: «Мама, не волнуйся, я жив-здоров» – ну и все такое. Про контузию умолчал.

В казарме, где разместились, по выражению Шапкина, «живые остатки бригады», провел Вадим несколько неопределенных дней. Никто ничего не знал, но обстановка была нервная, и слухи были такие, что немецкий генерал фон Лееб со своей армией и финский Маннергейм со своей хотят полностью окружить Ленинград, и только Кронштадт со своей артиллерией не дает им это сделать.

Но вот остатки бригады курсантов пересчитали, заново расписали по ротам, и появились новые командиры, и объявили боевую готовность. Паша Лысенков сообщил Вадиму, что их передают в Первую бригаду морской пехоты, пришедшую на кораблях из Таллина.

Был митинг. Незнакомый рослый батальонный комиссар прокричал, что над Ленинградом нависла грозная опасность, и зачитал письмо-клятву защитников города: «Пока видят глаза, пока руки держат оружие, не бывать фашистской сволочи в городе Ленина! Защитим Ленинград!..»

После митинга – посадка по грузовым машинам. И поехали с ветерком – через Петергоф. Улицы с детства знакомого городка пустынны. Пышная зелень парка будто поникла под снарядами, буравящими небо над ней.

Стрельна. Где-то тут, вспоминает Вадим, живет мамин сотрудник по детской библиотеке, интеллигентный лысый дядечка, как-то раз приезжали к нему с мамой, у него в огороде крыжовник рос замечательный, красная смородина…

Поворот на Красносельское шоссе. Теперь пригороды Ленинграда пошли мелькать – приземистые дома, бараки, бревенчатые избы, заборы, заборы, огороды.

– Там вот, возле станции Горелово, – сказал один первокурсник, ткнув пальцем в сторону железной дороги, – прошлый год женщину с дитем задавило. Пути переходила, ей маневровый паровоз гудел, гудел, а она не услыхала.

Раскатистый грохот усилился: где-то поблизости рвались снаряды, прилетевшие с кораблей, с фортов Кронштадта. В грузовике, в котором ехал Вадим, утихли разговоры. Люди в бескозырках и черных бушлатах, вооруженные винтовками и пулеметами Дегтярева, прислушивались к нарастающему голосу войны.

– Надо же, – сказал кто-то, – до Красного Села они доперли.

Не доезжая до станции Красное Село, близ растрепанного берега речки Дудергофки, машины остановились. Курсанты повыпрыгивали из шатких кузовов. Около часа шли по грунтовой дороге, вдоль зарослей кустарника. На виду у обгоревших, дымящихся строений, среди редких, побитых осколками берез и сосен стали окапываться. По другую сторону дороги остановилась еще одна, только что прибывшая, часть,

тоже морская пехота, – они были в касках. Где-то им успели каски выдать, повезло ребятам.

Вадим вдруг услышал, как кто-то из этих, в касках, выкрикнул:

– Веденеев, где моя лопатка? Почему не отдаешь, япона мать?

Вот это да! Вадим разогнул спину и с саперной лопаткой в руке перешел дорогу.

– Валя! – окликнул он.

Травников, очень загорелый, в каске, под которой белела повязка, обернулся. Медленно, улыбаясь, шагнул к Вадиму.

– Здорово, Дима.

– Здорово.

– Вот где встретились, – сказал Травников.

Глава четвертая
Травников в боях на море и на суше

Война застигла Травникова в море.

Так уж сложилась у него практика. Сдав экзамены и перейдя на четвертый, последний курс, Травников с группой старшекурсников в середине июня приехал в Таллин – главную базу Балтфлота – на корабельную практику. Как и хотелось ему, был он назначен на подплав.

Соединение подводных лодок находилось в Усть-Двинске – новой военно-морской базе в устье Западной Двины, близ Риги, и Травников, не задерживаясь в Таллине, отправился туда с оказией – на вспомогательном судне, страшно дымившем из допотопной высокой трубы.

Среди скопления кораблей в гавани Усть-Двинска Травников разыскал «Смольный» – плавбазу подводных лодок – и предъявил штабному чину свои документы. Штабной, замотанный служебными делами, велел ему «оформиться» на «эску», то есть подлодку серии С, которой командовал капитан-лейтенант Сергеев.

Травников пошел искать Сергеева. У левого борта «Смольного» стояла подлодка как раз с нужным номером – белой краской по серому телу рубки. Люк носового отсе-

ка был открыт, и кран с натужным стоном нес к этому люку длинную, поблескивающую на солнце торпеду, извлеченную из нутра «Смольного». Направляемая руками нескольких краснофлотцев, торпеда косо уходила в люк. Руководил погрузкой торпед усатый старший лейтенант со свирепым лицом. Травников – к нему:

– Разрешите обратиться?

– Ну? – гаркнул старлей.

Травников представился, спросил, где можно найти командира лодки.

– Каюта четырнадцать.

– Я туда постучался, командир не ответил.

– Значит, он на совещании у комбрига. – Старлей пошевелил желтыми усами. – А ты фрунзяк? Ну-ну. Майна! – крикнул он крановщику, извлекшему из смольнинского трюма очередную торпеду.

Плавбаза была наполнена звуками деятельной жизни. Стонал кран, завывала вентиляция, топали по палубному настилу матросские башмаки-говнодавы. В гальюне на баке Травников выкурил папиросу и снова спустился в коридор жилой палубы. Снова постучался в каюту номер четырнадцать – и услышал басовитое: «Войдите».

За столиком сидели двое – капитан-лейтенант и старший политрук, они разговаривали и курили при открытом иллюминаторе. Травников представился: прибыл на практику, четвертый курс училища Фрунзе – и так далее.

– Ха! – воскликнул старший политрук. – На ловца и зверь бежит. Он залился жизнерадостным смехом, жестом приглашая и капитан-лейтенанта посмеяться, но тот лишь усмехнулся, вынув изо рта трубку.

– Видите ли, мичман, – сказал он густым басом, – мы с замполитом как раз говорили о минере. Ощепков, наш минер, в отпуск уехал. Не хотел я его отпускать, но Владимир Иванович…

– Да, я поддержал Ощепкова, – подхватил замполит, – у него ж такое событие – сын родился.

– Короче: минер уехал, а тут приказ, срочный выход в дозор. И на бригаде сейчас нет свободного минера, чтоб заменил нашего. Ощепкову послали телеграмму – вернуться, но, пока он доберется из своего Ярославля, придется вам, мичман, покомандовать бэ-че-два-три. Под приглядом помощника. Такой крайний случай.

– Понял, товарищ капитан-лейтенант, – сказал Травников.

– Надеюсь, вы не двоечник?

– У меня отличные оценки.

– Вот и прекрасно. Владимир Иванович, помоги с каютой и питанием мичману Тральникову.

– Я Травников, товарищ командир.

– Ага. Хотя Тральников – было бы ближе к морской профессии.

Капитан-лейтенант Сергеев принялся выбивать трубку в

большую пепельницу. Уж он-то был не просто близок к морской профессии, а, можно сказать, ее воплощением – высокий, прямой, с сухощавым лицом и несколько насмешливым изгибом губ.

Замполит Гаранин выглядел попроще, – было в его облике нечто от недавнего комсомольского активиста, каких называют «свой в доску». Но, когда Травников, идя с ним рядом по коридору, спросил, почему комсоставу разрешены отпускá в такое тревожное время, Гаранин вдруг нахмурился и резковато сказал:

– Что значит «тревожное»? Вы сообщение ТАСС на прошлой неделе читали?

– Слышал по радио.

– Значит, знаете, что слухи о близости войны с Германией являются лживыми и провокационными. Отпуска для комсостава никто не отменял. Ясно, мичман?

Дел перед выходом в море всегда полным-полно, – Травников с ходу включился в них. Все же успел вечером написать письмо Маше – сообщил, что начинает корабельную практику, интересовался, закончилась ли у Маши сессия («уверен, что ты сдала все на отлично, ты ведь умная у меня»), а в конце письма задал вопрос со значением: «Машенька, как ты себя чувствуешь?» – и два последних слова подчеркнул. Из гавани сбегал на почту и попал туда за минуту до ее закрытия – успел отправить письмо.

Ранним утром «эска», тихо шелестя электромоторами, покинула гавань Усть-Двинска и, слившись с плавным током Западной Двины, то есть Даугавы, пошла в распахнувшуюся синеву Рижского залива. А там, грохотом дизелей вспугнув стаю чаек, прямиком направилась в Ирбенский пролив, у западного входа в который и начиналась позиция дозора.

Спросив разрешения, Травников поднялся на мостик, закурил «беломорину». «Эска» шла ходко, острым форштевнем взрезая податливую воду, волоча белопенные усы. В небе против хода лодки плыли облака, «вечные странники». Движение в море, движение в небе – это наполняло душу Травников радостью. Жизнь складывалась так, как он хотел. Море, флот, подводная лодка! Через год он станет лейтенантом, морским командиром. А на берегу его ждет прекрасная женщина, скоро они поженятся, – да, наступит осень, и они станут мужем и женой на всю жизнь. До дней последних донца.

И одно только пятнышко было на радости, распиравшей грудь мичмана Травникова. Когда прощались перед его отъездом в Таллин, Маша сказала, смущенно отведя взгляд: «Валя, знаешь, у меня задержка… Ну, ты понимаешь…» – «Ты хочешь сказать, что ты…». «Пока не знаю, – перебила она. – Может, просто задержка, это бывает. А может быть…» Маша не договорила, улыбнулась, прильнула к нему.

Наверное, Маша написала ему в Таллин на главпочтамт до востребования, но он-то в Таллине пробыл недолго, письма

еще не было, – а теперь, возможно, оно и пришло. Жаль, что разминулись…

Папироса выкурена, надо убираться с мостика. Травников шагнул к люку. Тут с неба, быстро нарастая, обрушился гром. Из облаков, как из-под ватного одеяла, вынырнул темно-серый самолет с крестами на крыльях, с отчетливой свастикой на хвосте. Снижаясь, он прошел над «эской», явно рассматривая ее. Капитан-лейтенант Сергеев погрозил немцу кулаком, пробормотал:

– Ох и влепил бы я тебе… разлетались тут…

Травников слышал уже не раз, что немецкие самолеты все чаще нарушают границу, ведут, по-видимому, воздушную разведку приграничной зоны, а открывать по ним огонь строжайше запрещено. Ни в коем случае не поддаваться на провокации, – таков приказ из самых высоких сфер.

Травников спустился в центральный пост, прошел в первый отсек, торпедный, где он теперь, в качестве исполняющего обязанности минера, был командиром. Тут сидел на койке старшина 1-й статьи Бормотов, командир отделения, а над ним стоял молоденький лодочный фельдшер Епихин с термометром в руке.

– Да отвяжись от меня, – говорил хриплым голосом Бормотов. – Я сроду не болел, понятно, нет?

– Сроду не болел, а кашляешь так, что в седьмом отсеке слышно. Давай измерь температуру.

– Ну и что, если кашляю?

– А то! Сказано было, что в реке вода холодная, а ты полез. Давай, давай, Бормотов, не упрямься.

– Отстань, говорю! Не хочу мерить.

У Бормотова лицо было красное, глаза заплывшие.

Травников сказал:

– Измерьте температуру, старшина. У вас, верно, больной вид.

Бормотов повел на него неприветливый взгляд: дескать, это еще кто тут командует?

– А, товарищ мичман, – прохрипел он. – Здра-жлаю, товарищ мичман. Р-разрешите не выполнить ваше ценное…

Тут его сотряс долгий кашель. Обессиленный, потный, он повалился на койку. И не сопротивлялся, когда Епихин, оттянув у плеча его тельняшку, сунул под мышку градусник.

– Ну вот, – сказал фельдшер минут через пять, качнув головой, – тридцать восемь и шесть.

Из большой сумки с красным крестом он вытащил флягу, налил воды в граненый стаканчик и всыпал туда из облатки белый порошок. Размешал и дал Бормотову выпить.

Когда лодка погрузилась, удифферентовалась, наступила тихая подводная жизнь, фельдшер Епихин доложил командиру о своем беспокойстве: как бы у Бормотова не воспаление легких.

– Этого еще недоставало, – проворчал Сергеев. – Мы десять дней будем в дозоре – сумеете столько продержать его? Есть у вас лекарства от воспаления?

Епихин ответил, что есть сульфамид, ну и горчичники, конечно, на грудь налепим… но вообще-то нужна госпитализация…

– Удвойте ему дозу, что ли, – сказал командир. – Я бы не в госпиталь, а на губу отправил Бормотова. Не было разрешения купаться, а он полез в холодную реку.

Поздним вечером раздалось из переговорных труб:

– По местам стоять, к всплытию! – И затем: – Продуть среднюю!

Трюмный машинист врубил рычаг, – с шипением, со свистом ворвался сжатый воздух в среднюю цистерну, выбрасывая из нее воду, поднимая лодку в позиционное положение.

– Приготовить правый дизель на продувание главного балласта!

Вскоре заработал, зататакал восемью своими цилиндрами дизель, и старшина группы трюмных доложил, что продут главный балласт. На приборной доске погасли белые огоньки номерных цистерн. Командир приказал:

– Дизель на винт-зарядку!

И пошла лодочка малым ходом по тихой, слабо колышущейся воде, и работяга-дизель набивал электричеством ее аккумуляторную батарею.

Ночь была светлая, хорошая. Луна, немного усеченная тенью, спокойно взирала на подлунный мир. А в нем-то – некогда воспетом поэтами – было очень, очень плохо…

Под утро механик доложил, что плотность батареи доста-

точная, и командир, докурив на мостике трубку, уже собрался скомандовать погружение, как вдруг радист Малякшин принял срочную радиограмму, идущую по всему флоту. Заспанный шифровальщик, уединившись со своими таблицами в командирской каютке, расшифровал ее и подал командиру бланк. Всего несколько строк размашистым почерком:

«Германия начала нападение на наши базы и порты. Силой оружия отражать всякую попытку нападения противника. Комфлот Трибуц».

Командир Сергеев прочел и сказал:

– Война!

И протянул бланк замполиту Гаранину.

Двое суток прошли спокойно. «Эска» утюжила район позиции, осматриваясь выдвинутым перископом, всплывая по ночам для зарядки батареи.

А на третьи сутки…

Ночь была довольно светлая, луна, наполовину съеденная тенью, то и дело выплывала из бесконечных облаков. «Эска» шла малым ходом, один ее дизель работал на винт и на зарядку. Около часу сигнальщик Лукошков, обшаривая в бинокль горизонт, разглядел в южной его стороне два движущихся предмета.

– Слева сорок пять – два силуэта! – выкрикнул он. И неуверенно добавил: – Кажется, катера́.

Сергеев повел в указанном направлении бинокль.

– Не вижу никаких силуэтов, – пробормотал он. – Тебе, может, они приснились, Лукошков?.. А-а, вот! Да, катера. Похожи на «мошки».

«Мошки», то есть «морские охотники», вполне могут оказаться здесь – они шастают вдоль всего побережья.

– Вооружить прожектор, – командует Сергеев. – Запросить опознавательные.

Лукошков быстер, исполнителен. Стучит заслонкой, посылая броски света – точки и тире – в сторону катеров.

А те идут на сближение. Неясен в слабом ночном свете силуэт их надстроек. И вот что: не отвечают! Пора, пора дать ответ, а они молчат…

Сергеев командует:

– Боевая тревога! Артрасчеты наверх!

Раскатываются звонки тревоги по отсекам. Из первого отсека торпедисты, они же комендоры, устремляются в центральный пост, быстро поднимаются по отвесному трапу на мостик, занимают свои места у носового и кормового орудий. А Травников, как исполняющий обязанности командира артиллерийско-минной боевой части, должен управлять артогнем. Но…

– Мичман, к сорокапятке! – бросает ему Сергеев. – Командиром орудия!

– Есть! – Травников бежит к кормовой пушке.

Ему ясен приказ – заменить заболевшего Бормотова, командира сорокапятки. Что ж, эта пушка ему хорошо знакома

по училищному кабинету артстрельбы.

Но где же цель?

А ветер крепчает. Травников опускает ремешок мичманки. Вот она – цель! Два катера незнакомых очертаний слева… идут, кажется, наперерез курсу лодки, кабельтовых десять до них…

Тут выплывает из густой облачности луна. Светло как! Будто занавес раздернули…

А это что?!

Почти одновременно – голос Лукошкова, выкрик Травникова и кого-то из комендоров:

– Торпеды!

И тут же – рык Сергеева:

– Право на борт!

Лодка поворачивает. Торпеды, сброшенные с катеров, хорошо нацелены, но лодка уклоняется, уклоняется – в лунном свете видно, как пенистые дорожки двух торпед, образованные пузырьками отработанных газов, быстро проходят вдоль лодочного левого борта. Почти впритирку!

– Огонь по катерам! – голос командира.

А помощник орет в мегафон:

– Кормовое! Прямой наводкой!

Травников уже приготовил сорокапятку к бою, уже велел заряжающему открыть кранцы первых выстрелов. Лодка на повороте обращена к катерам кормой – значит, носовое орудие-сотка пока стрелять не может – ну а мы влепим сейчас…

Он ловит левый катер на перекрестие нитей прицела и кричит заряжающему Кухтину: «Давай!» Тот не мешкая досылает патрон в казенник пушки. Выстрел!

Эх, перелет! Дистанция быстро сокращается, и уже катера открыли огонь. Трассирующая очередь проносится так близко, что ее жар опаляет щеки Травникова. Снова он совмещает перекрестие нитей с рубкой катера – выстрел! Еще, еще… Всплески, гребенка всплесков… Ага, попадание! Вспышка пламени, и рубка катера разваливается… там заметались темные фигуры…

Второй катер направляется к подбитому, который, задирая форштевень, кормой погружается в воду, и снимает с него уцелевших людей. А лодка, продолжая поворот, теперь и носовой пушке открывает противника. И сотка вступает в бой. Ее снаряды поувесистее унитарных патронов сорокапятки. Вон какие всплески… и, кажется, попадание… Столб огня, дыма… заволокло, ни черта не видать… Травников прекращает огонь.

Немецкий катер укрылся дымзавесой. А когда она рассеялась, катер был уже далеко – уходил восвояси.

Кухтин, рослый широкоплечий малый, вдруг повалился головой к леерной стойке. Обеими руками он держится за живот, и руки окровавлены. Травников и наводчик Федоров бросаются к нему.

– Да ничего, ничего, – бормочет Кухтин. – Зацепило немного.

В эфире шумно, неспокойно: голоса немецких дикторов забивают все другие радиозвуки, громыхают литавры их бесконечных маршей. Но Семен Малякшин терпелив. Бормоча себе под нос: «Но тих был наш бивак открытый», – он отстраивается от помех – и ловит искомую радиостанцию Коминтерн.

Но сводки – плохие. Вот сообщение о том, что после упорных боев оставлена Либава. Командир Сергеев чертыхнулся, когда Малякшин доложил ему эту сводку.

– Там же полно кораблей. Такую базу потеряли! Ты, Сенечка, не можешь что-то повеселее докладывать?

– Я бы рад, товарищ командир, – отвечает Малякшин, серьезный юноша с красными от недосыпа глазами, – но пока не могу. К сожалению.

На рассвете одного из дней гидроакустик доложил, что по такому-то пеленгу слышит шум винтов. Сергеев поднял перископ и сквозь колышащиеся полосы тумана разглядел темные пятна и дымы – это, наверное, группа кораблей. Сергеев пошел на сближение. Вскоре стало понятно: немцы ставят минную банку у входа в Ирбенский пролив. Идет малым ходом минный заградитель, кораблик тысячи на три водоизмещением, а с его круглой кормы плюхаются в воду шары мин. Охраняют эту чертову работу два корабля поменьше и четверка катеров-охотников. Погода подходящая, волнение хоть и не сильное, но достаточное, чтобы скрыть от глаз про-

тивника пенный след перископа. Сергеев объявляет торпедную атаку и приказывает приготовить к стрельбе первый и третий торпедные аппараты. В первом отсеке идет быстрая работа. Проверено давление воздуха в торпедах – все в норме. Торпедисты замерли в ожидании команды «Товсь!» А в центральном Сергеев и его помощник старший лейтенант Бойко вырабатывают по таблицам математику атаки. Лодка ложится на боевой курс. Теперь – ждать прихода цели на пеленг залпа…

– Аппараты, товсь!

Кажется, тронь каждого в экипаже – зазвенит как натянутая струна… – Аппараты, пли!

Мощный вздох сжатого воздуха, два толчка по ушам…

– Торпеды вышли! – доложил Травников в центральный.

И акустик докладывает, что слышит работу машин идущих к цели торпед.

Взрыв! И сразу – второй. Сергеев прильнул к окуляру перископа. Сноп желто-красного огня взметнул в небо обломки корпуса минзага, клубящийся дым…

– Владимир Иванович, посмотри! – Сергеев дает замполиту взглянуть. – Хороша картина? Ну, всё. – Он нажимает на кнопку, перископ пошел вниз. – Боцман, ныряй! Лево руля!

У замполита Гаранина сияющий вид. Он объявляет по переговорным трубам:

– В носу! В корме! Мы потопили минный заградитель

противника. Поздравляю с первой победой, товарищи! Наша лодка…

Тут голос замполита прерывается звенящим звуком взрыва. И еще… и еще… Катера охранения сбрасывают глубинные бомбы. Первое, так сказать, знакомство… Сергеев маневрирует под водой, уходя мористее, погружая лодку на тридцать, на сорок метров… Звуки бомбежки удаляются, превращаясь в резкие щелчки…

Удалось уйти от преследования.

Десятидневный срок дозора кончился, но приказа о смене не поступало. И обстановка была неясная. Судя по сводкам, шло сильное наступление германских войск. Неясно было с Ригой, с Усть-Двинском – не захвачены ли фашистами?

Вдруг пришел приказ перейти в Рижский залив, в его южной части атаковать возможные конвои противника.

И верно, конвои шли. Но попробуй подступись к ним: мелководье! А десятиметровую изобату подводным лодкам пересекать запрещено.

Все же Сергеев решил рискнуть.

Шел большой конвой, на менее двадцати судов. Идут явно в Ригу: других портов для разгрузки такого каравана тут нет. Сергеев повел «эску» на сближение, решил стрелять не с пяти-шести кабельтовых, а с десяти-двенадцати. И уже начал рассчитывать угол встречи с головным транспортом, как вдруг…

Чертов штиль! На катерах охранения заметили пенный

след перископа на гладкой, как стол, воде. Несколько катеров-охотников ринулись на лодку. Сергеев повел ее мористее, вокруг грохотали разрывы глубинных бомб. От близкого взрыва посыпались стекла плафонов, погас в отсеках свет. Сергеев велел застопорить моторы. Лодка легла на грунт. Отвратительно тихо сделалось. На катерах-охотниках, понятно, выслушивали лодку. Сергеев приказал выключить все механизмы, не шуметь, даже ботинки велел поснимать, ходить в носках.

«Эска» затаилась. Вскоре опять загремели взрывы глубинных бомб. Над лодкой будто поезд прошел – так близко прошумели винты шастающих наверху охотников. Вцепились. Взрыв, взрыв, взрыв. Стихло. В отсеках «эски» становилось трудно дышать. В первом отсеке хрипло дышал Кухтин, – раненный в живот, перевязанный, он держался из последних сил. Рядом с его койкой сидел на разножке Травников. Он коснулся горячей руки Кухтина, прошептал ему: «Потерпи, Егор… Скоро кончат бомбить… всплывем, легче станет…»

Томительно текло время. Дышать все труднее, много скопилось в отсеках углекислоты. Хотелось спать. В тусклом свете аварийного освещения блестели потные измученные лица. И слышно только свистящее дыхание, прерываемое разрывами глубинок.

Но вот стихла бомбежка. Устали, может, охотники. Час проходит, другой, третий. Там, наверху, стемнело уже. И, на-

верное, стоят катера, дежурят, ждут, когда лодка всплывет.

Сергеев командует:

– По местам стоять, к всплытию! Артрасчеты в центральный!

Верное решение, думает Травников, поднимаясь по трапу на мостик. Лучше артиллерийский бой, чем задыхаться на грунте…

Ох, светло как! Полная луна – яркий фонарь на безоблачном небе – положила на залив золотую дорожку. И – нету катеров-охотников! Никого вокруг. Только покачивается за кормой всплывшей «эски» буй с электрофонарем. И – широкое масляное пятно на гладкой воде. Наверное, повреждена от бомбежек топливная цистерна. А немцы, может, решили, что лодка потоплена. Обвеховали это место и ушли.

Что же теперь? Усть-Двинск, очевидно, потерян. Продолжать дозор с повреждениями междубортных цистерн? Да вот и механик докладывает, что нарушилась изоляция аккумуляторной батареи. Сергеев посылает радиограмму: «Имею повреждения прошу указаний дальнейших действиях». И вскоре приходит подписанный комбригом ответ: «Срочно идти рейд Куйвастэ».

Вот он на карте – Куйвастэ, небольшой порт на острове Муху, то есть по-старому Моон, у южного входа в пролив Мухувейн, то есть по-старому – Моонзунд. Штурман прокладывает курс. «Эска» идет полным ходом, дизеля работают нормально, отсеки вентилируются. Но вскоре ход замед-

ляется: растет дифферент на нос. Значит, повреждены при бомбежках носовые цистерны, в них поступает вода, нос зарывается. Приходится продувать эти цистерны воздухом высокого давления.

В первом отсеке фельдшер Епихин меняет повязку Кухтину. Тот очень ослабел от потери крови, от кислородного голодания. Епихин нащупал его пульс, качает головой. Плохо дело, думает Травников. Дотянет ли Кухтин до этой… как ее… Куйвасты?

А Бормотов разговорился что-то. Когда лежали на грунте, он еле сдерживался, чтоб оглушительным кашлем не выдать немецким акустикам место лодки. Пальцы себе кусал, не давая кашлю вырваться на волю. А теперь, откашлявшись, травит про довоенную жизнь в Архангельске.

– Папаша мой был моторист, едрит-твою, – хрипел Бормотов, обращаясь к Федорову и другим обитателям первого отсека. – Была в Архангельске такая шхуна «Шарада». Как раз я родился в том году, когда эта шхуна к Новой Земле пошла, на ней капитан Воронин. Знаешь его? Ну что ты, знаменитый был капитан. Правда, потом. А папаша – мотористом. Движок на «Шараде» слабенький, Воронин говорит – ну его на хер, под парусами пойдем. Ну, папаша – пожалста, под парусами…

– Эта шхуна, – сказал Травников, – называлась не «Шарада», а «Шарлотта».

– Откуда ты знаешь? – повел на него Бормотов недовер-

чивый взгляд.

– Да известная же была научная экспедиция. На «Шарлотте» ученые шли на Новую Землю. Северная экспедиция.

– Ну, северная, а какая ж еще? Вот пришли на Новую Землю, тамошний начальник их встретил, а его фамилия знаешь как? Вилка!

– Вилка? – Федоров хохотнул. – А я думал – Ложка!

– Опять ты путаешь, – сказал Травников. – Не Вилка, а Вылка была фамилия председателя Новоземельского совета. Тыка Вылка.

– А по-моему Вилка, едрит-твою! Чего ты встреваешь?

– Не путай – не буду встревать. – Травников держался сухо и твердо.

– Тоже мне корректировщик. Мне папаша что рассказывал? Сошли они, значит, на берег, а там скалы, и на скалах птичий базар. Что, мичман, опять скажешь нет?

– Птичий базар – это точно.

– Миллионы птиц! Чайки и эти… кайры! Сидят, на яйцах и так, отдыхают. Один ученый, может, для науки, а может, просто так взял и выстрелил из ружья. Что тут было, едрит-твою! Все разом взлетели, как туча, аж солнце затмили, загалдели и сверху всю группу с головы до ног обосрали!

В первом отсеке наступает веселая минута. Смеются торпедисты, представив себе такую картину.

– Что за смех в Рижском заливе? – спрашивает вошедший в отсек Гаранин.

– Бормотов травит, товарищ старший политрук, – говорит Федоров, двумя пальцами теребя молодые усы. – Про птичий базар и какие от него неприятности.

– Ну, как ты, Егор? – Гаранин всмотрелся в Кухтина. – Вижу, вижу – в надводном положении тебе лучше, чем в подводном.

– Лучше, – прошептал Кухтин.

– Скоро придем в Куйвасту, самого хорошего доктора к тебе позовем. Верно, фельдшер? Ну вот. Держись, Егор. У нас много еще будет дел на войне.

– Знаю, – сказал Кухтин, превозмогая приступ боли.

К полудню шло, когда «эска» добралась, доковыляла до рейда эстонского городка Куйвастэ. Еще издали Сергеев с мостика увидел в бинокль на фоне зеленого берега силуэт крейсера «Киров», флагманского корабля Балтфлота. Очень он выделялся красотой и мощью среди скопления кораблей. Сергеев невольно залюбовался крейсером, – но и мелькнула опасливая мысль: если базы в Рижском заливе потеряны, то надо же выводить отсюда «Киров», а ведь в Ирбенском проливе немцы ставят минные заграждения…

Стояли тут, на рейде, на якорях шесть эскадренных миноносцев, тральщики, десятка полтора вспомогательных судов, торпедные катера. А вот и плавбаза «Смольный», окруженная несколькими подводными лодками.

Ну, «Смольный» – почти дом родной. Там – и помыть-

ся и отдохнуть. Сергеев велит сигнальщику поднять позывные, а потом, войдя на рейд и встав на якорь, отправляет на «Смольный» семафор: докладывает о своем прибытии и просит прислать шлюпку за раненым и больным.

Шлюпка-шестерка вскоре пришла. Осторожно торпедисты вынесли из носового отсека и подняли на мостик Кухтина, – оттуда спустили его в шлюпку, удерживаемую отпорными крюками у выпуклого бока «эски». Кухтин, очень бледный, приоткрыл глаза, наполненные болью, прошептал: «Прощайте, ребята…»

Бормотов не хотел уходить, чуть ли не силой пришлось вывести его из отсека. На мостике, хлебнув свежего воздуху, Бормотов зашелся долгим кашлем. Потом, отдышавшись, отвел руки фельдшера Епихина, прохрипев: «Я сам».

Смольнинские матросы взялись за весла, погнали шлюпку к плавбазе. Кухтина и Бормотова сопровождал Епихин. Пошел на «Смольный» и командир Сергеев.

Вернулся он спустя два часа. На вопрос Гаранина коротко ответил: «Кухтин плох» – и сразу прошел во второй отсек, где инженер-механик Лаптев и электрики возились в аккумуляторной яме, во вскрытой батарее.

Гибким движением гимнаста Лаптев выпрыгнул из ямы.

– С расклинкой батареи мы управимся, товарищ командир, – говорит он быстрым южным говорком. – А вот как быть с носовыми цистернами? Наверное, заклепки потекли, нужно зачеканить. Док нужен, товарищ командир.

– Где я вам док возьму, механик? – Сергеев хмуро смотрит на Лаптева, на его раскосые «пиратские» глаза. – Надо до Таллина дотянуть, а там видно будет.

– До Таллина? – удивленно переспрашивает механик.

За ужином Сергеев объявляет:

– Значит, так, товарищи командиры. По приказу комфлота уходим из Рижского залива. «Киров» и другие корабли, в том числе и лодки, переходят в Таллин. Переход – по Моонзунду.

– Там же мелко, Михаил Антоныч, – говорит помощник Бойко. – Мы-то пройдем, а вот «Киров»…

– Пройдет и «Киров». В Моонзунде идут дноуглубительные работы. Нагнали землечерпалок, углубляют фарватер. С крейсера выгружают боезапас главного калибра, лишнее топливо. Чтобы уменьшить осадку. Такие дела. – Сергеев отодвигает тарелку с недоеденной пшенной запеканкой и наливает себе чаю. – Должен сообщить, товарищи командиры, – говорит он, помешивая ложечкой в стакане, – что обстановка на море трудная. К северу от Даго нарвался на минное заграждение крейсер «Максим Горький», взрывом мины ему оторвало нос…

– Нос оторвало?! – ахнул механик Лаптев. – Он затонул?

– Нет. Броневая переборка не дала хлынуть воде внутрь корпуса. «Горький» своим ходом добрался до Таллина. А вот на той же минной банке подорвался и затонул эсминец «Гневный».

Травников, исполняющий обязанности командира БЧ-2-3, питался с лодочным комсоставом в кают-компании – за столом во втором отсеке. Услышав о «Гневном», он вскинулся, не донеся до рта стакан чая.

– А экипаж «Гневного»? – спросил он. – Все погибли?

– Не все. Уцелевших снял другой эсминец, «Гордый». У вас что, мичман, кто-то был на «Гневном»?

– Да. Мой близкий друг проходит там практику.

– Проходил, – сказал Сергеев.

Да нет, не может быть, чтобы Жорка погиб, думал Травников. Жорка Горгадзе – ну не такой человек, чтобы взять и погибнуть… Жорка мечтал об эсминцах, радовался, что попал на практику на новый эсминец…

– Тяжелые потери и у нас на подплаве, – продолжал Сергеев излагать информацию, полученную на «Смольном». – Погибла «малютка» эм-восемьдесят три. Командир Шалаев привел ее с поврежденным перископом в Либаву, не зная, что там уже идут уличные бои. Вошел в канал, когда немецкая мотопехота прорвалась к судоремонтному заводу «Тосмаре». С ходу старлей Шалаев ударил из своей сорокапятки по их машинам. Прямой наводкой. Ну, неравный бой, сильные повреждения, артбоезапас расстрелян. Шалаев отдал последний приказ: всем, кто жив, сойти на берег, лодку взорвать. Там сухопутная часть оборонялась, Шалаев со своими ребятами к ним примкнули. Дрались до последнего патрона.

– Ах, Паша! – Бойко пошевелил желтыми усами. – Паша Шалаев был в нашем выпуске очень заметный. Он первым из нас стал командиром лодки.

– А в нашем выпуске, – сказал Сергеев, – был Коля Костромичев, командир «эс-три». Вы его знаете. Комфлот приказал кораблям, стоявшим в Либаве, перейти в Виндаву или Усть-Двинск. А «тройка» стояла там в группе ремонтирующихся кораблей. У нее повреждение было, мешавшее погружаться, но надводный ход имелся. И Костромичев вышел в море, на борту его лодки был еще и экипаж «эс-один», которая своего хода не имела.

Сергеев допил чай и со стуком поставил подстаканник.

– Черт его знает, что там произошло, в Либаве. Комфлот приказал всем кораблям уйти оттуда. А кто отдал приказ взорвать корабли, стоявшие на ремонте, я так и не понял. Факт тот, что «эс-один» взорвали.

– Ну так правильно, – сказал Гаранин. – Чтоб не досталась противнику.

– Да, правильно. – Сергеев мотнул головой, словно отгоняя посторонние мысли. – Так вот, Костромичев на «тройке» вышел в море с двумя экипажами на борту и без торпед, без всякого охранения. На траверзе Виндавы «тройку» атаковала группа торпедных катеров. Полтора часа Коля Костромичев отбивался артиллерией. Пока не расстрелял боезапас и не погибли артрасчеты. Костромичев направил лодку к берегу – может, думал, что удастся спасти экипажи. Но

немцы торпедами разорвали «эс-три».

Во втором отсеке, в кают-компании повисло, сгустилось, как грозовое облако, трудное молчание.

Травников курил на мостике «эски». По-летнему медленно опускался вечер на рейд Куйвастэ. Казалось, что вечер повис на топах мачт стоявших на рейде кораблей и не торопится перетечь в ночь. Из разговора в кают-компании знал Травников, что ночью, вероятно, начнется движение на север, в Моонзунд. Флот покидал Рижский залив. Нельзя допустить, чтобы крейсер «Киров» и другие корабли оказались в ловушке, запертой германскими минными заграждениями в Ирбенском проливе.

Конечно, Моонзунд пролив неглубокий, не очень-то судоходный, так, ходит тут каботажная мелочь. Да еще ведь лежат в нем затонувшие суда…

Он, Травников, знал историю Моонзунда. В Первую мировую, летом 1916 года, в самой мелководной части пролива прорыли канал, так называемый Кумарский, для прохода крупных кораблей. А в девятьсот семнадцатом, в октябре, линкор «Слава», прикрывая у южного входа в канал выход из Рижского залива отряда кораблей, вступил в неравный бой с германской эскадрой. Огнем своих башен «Слава» повредила один из линкоров противника, потопила миноносец, но и сама получила тяжкие повреждения. Храбрый экипаж развернул «Славу» поперек фарватера и затопил, заго-

родив проход германской эскадре. С той поры Кумарский канал в лоции Балтийского моря обозначен как фарватер «Слава». В тридцатые годы линкор «Слава» был поднят, разрезан. Но, кажется, в канале затоплены еще какие-то суда.

Сгущались вечерние сумерки. Мичман Травников докуривал папиросу, поглядывал на белые портовые здания, на желтую полоску пляжа. Там, недалеко от пляжа, у ограды городского кладбища, утром похоронили старшего краснофлотца Кухтина Егора Петровича. Не удалось его спасти врачам на «Смольном». Останется Кухтин навечно на эстонском острове Муху, по-старому Моон.

Печаль была на душе у Травникова. Нравился ему этот Портос, спокойный и добродушный, в допризывной жизни – стрелочник на станции Семибратово где-то в Ярославской области. Кухтин последний год дослуживал. Он точно подсчитал, сколько компотов из сухофруктов осталось ему выпить до того осеннего дня, когда скажет: «Нате ваши ленты, дайте мои документы». В отсеке подначивали его: «Что, седьмой брат, опять пойдешь стрелки переводить?» – «Не, – отвечал Кухтин. – Я, ребята, перво-наперво женюсь». – «На ком? – интересовались друзья-торпедисты. – Твоя Настасья, поди, давно тебя позабыла». – «Так я ей напомню», – посмеивался Кухтин…

Травников загасил папиросу, спустился по отвесному трапу в центральный, прошел к себе в первый отсек.

– Ну что там, мичман, деется? – спросил Федоров. – Ско-

ро пойдем в этот Моонзунд?

– Да. Скоро.

– А-а, ну ладно. Петь, а Петь! – окликнул Федоров молоденького белобрысого краснофлотца, подростка с виду, занятого проверкой запасных торпед на стеллаже. – Слыхал? Скоро пойдем в Моонзунд. Что ты сказал?

– Я ничего не говору, – ответил молоденький.

– «Говору», – передразнил Федоров. – А вот, товарищ мичман, рассуди нас с Петей Мелешко. Я ему говорю, что у нас в Сукове продают сухое вино, а он не верит.

– Сухое вино не бывает, – убежденно сказал Петя.

– Суково – это, кажется, подмосковная деревня? – спросил Травников.

– Точно. Я «суков сын».

– Мы почти земляки. Я же москвич.

– Не «почти», – сказал Федоров. – Я в Москве родился, мы жили на Большой Дорогомиловской. А когда объявили генплан… ну, план реконструкции…

– Ясно, ясно.

– Ну вот, нас в тридцать седьмом выселили, дом-то был старый, на слом назначенный, и переселили в Суково. Это деревушка была рядом со станцией, с одной стороны лес, с другой – грязища по колено. – Федоров потеребил франтоватые черные усики. – А ты в Москве где жил?

– На Первой Мещанской, – сказал Травников.

– А-а, знаю. Ну, земляки, значит. Я в Сукове семилетку

кончил, там как раз школу построили. А рядом «Яшкина палатка» стояла. У этого Яшки все, что хочешь, можно было купить – овощи, хлеб, водку, даже масло было, правда, не всегда. Арбуз однажды купили. Ну и сухое вино, только его мало кто пил.

– Само собой, – сказал Травников. – Сухое плохо в горло проходит.

– Точно! Ты слыхал, Петь? Да-а… Вот жизнь была, товарищ мичман! В бараке двухэтажном жили. Электричества и водопровода не было. Бани – тоже. Мылись в корыте у печки. Книжки читать бегали в соседнюю деревню Терёшково, там изба-читальня была. Вечером керосиновые лампы… Петь, а Петь, у вас в колхозе электричество было?

– Ну, – сказал Петя Мелешко. – Разве без электричества можно?

– У нас «керосинка» была вместо электростанции, это лавка, в которой керосин покупали. И вообще все, что хочешь, – гвозди, олифу. В твоем колхозе, Петь, таких лавок нету. Что?

– Я ничего не говору.

– «Не говору»! А Суково в тридцать восьмом переименовали в Солнцево. И строились здорово. Электричество провели. Я-то ведь на монтера выучился…

Тут раскатились по отсекам звонки, из переговорных труб грянул жесткий голос помощника:

– По местам стоять, с якоря сниматься! Товсь, дизеля!

Не стало тишины. На рейде Куйвастэ тарахтели на кораблях брашпили, выбирая якоря. Первыми пошли в Моонзунд малые охотники за подводными лодками – их, для краткости, называли морскими охотниками (или еще короче – «мошками»). За ними двинулся крейсер «Киров». Потом начали движение эсминцы и сторожевики, вспомогательные суда. Медленно пошла плавбаза «Смольный» – этакая военно-морская мама, ведущая выводок своенравных детишек – подводные лодки.

У островка Кессулайд начинался канал «Слава». Тут ледокол «Лачплесис» и буксировщик «Медник» приняли буксирные тросы и потянули крейсер «Киров» в канал.

Фарватер был промерен гидрографами и обвехован, и, конечно, углублен, чтобы крейсер с его семиметровой осадкой смог пройти. Но – в сгустившейся темноте не стало видно вех на фарватере, и около полуночи «Киров» грузно сел на мель.

Ледокол пытался раскачать огромное стальное тело крейсера. Лопались трехдюймовые буксирные тросы. Заводили новые. Экипажу – тысяче моряков – приказали переместиться на корму, чтобы облегчить нос. Ледокол, страшно дымя, форсируя машины, тащил крейсер рывками. Далеко заполночь удалось, наконец, стащить его с мели. Контр-адмирал Дрозд, командовавший переходом, приказал вернуться на якорную стоянку у Кессулайда и дожидаться наступления утра. Опасное решение: на рассвете могли появиться герман-

ские самолеты-разведчики, а за ними и бомбовозы. Немцы, конечно, знали, что крейсер «Киров» обретается в Рижском заливе, но, может, им в головы не могла прийти странная мысль, что русские потащат крейсер в мелководный Моонзунд, да еще без воздушного прикрытия.

А на рассвете – туман. Плотными белыми полотнищами лег он на корпуса кораблей, на берега пролива. Это было и хорошо (нелетная погода!), и плохо (как идти в таком тумане сквозь узкости фарватера?).

Но как только чуть просветлело, стали видны верхушки береговых знаков и слегка обозначили себя вехи на фарватере, адмирал приказал сниматься с якорей. На коротком буксирном тросе работяга «Лачплесис» снова потащил «Киров» в канал. Двое молодых гидрографов, определяясь по знакам и своим планшетам, в мегафон выкрикивая команды на буксировщик, аккуратно вели крейсер.

Вошли в пролив Хари-Курк, тут было просторнее, чем в канале. «Киров» отдал буксирные тросы и двинулся своим ходом. Туман рассеялся. Солнце, выглянув из облаков, положило на воду золотые блики. Стаи чаек с сумасшедшими криками носились над кораблями – может, впервые видели такую флотилию.

Морские охотники, идущие впереди, сбрасывали по курсу глубинные бомбы. Тут, на выходе из Хари-Курка в устье Финского залива, глубина была достаточная для действий подводных лодок, – требовалась, значит, осмотрительность.

И все же, все же – не обошлось без потерь.

Моонзунд пройден благополучно, колонна входила в Финский залив, как вдруг прогрохотал взрыв. Подводная лодка М-81, шедшая в конце походного ордера, наткнулась на мину. «Малютку» разломило пополам, она тотчас затонула. Кинувшийся на помощь тральщик подобрал только троих, сброшенных взрывом с мостика.

Вечером крейсер «Киров» и сопровождавшие его корабли вошли на рейд Таллина – главной базы Балтфлота.

* * *

В окошке главпочтамта Травников получил два письма, присланных до востребования. Поблагодарил белокурую девицу, выдавшую письма. Та молча отвернулась.

Выйдя на улицу, Травников закурил и, прислонясь к стене, стал читать.

Первое письмо было написано до начала войны, и Травников читал его с улыбкой:

> «Валя Валечка! Какой ты нехороший, скрылся за морскими туманами и даже думать забыл о бедной девушке, задавленной жутко трудным экзаменом по диамату и истмату. Разве можно так? Валечка, какой ты хороший, я знаю, что ты в морском просторе постоянно думаешь об одной девушке, которая постоянно вспоминает о тебе и как нам

было хорошо!! Ведь правда? Валечка, ты помнишь, я писала курсовую работу по Гончарову? Так вот, хочу похвастаться: высокую оценку ей дал знаешь кто? Сам профессор Эйхенбаум. Я так рада, Валечка! Ну ладно, не буду своими глупостями мешать тебе править морскую службу. Валечка, скорее напиши, как идет твоя практика. И про то, как ты постоянно думаешь обо мне. Много-много-много целую тебя. Твоя Маша».

И второе письмо:

«Валя, дорогой! Уже почти две недели, как началась война, а от тебя была только открытка из Таллина, написанная до ее начала. Ты пишешь, что получил назначение и уезжаешь на объект. Я понимаю, что такое военная тайна, но все же почему нельзя написать, где «объект» находится? Где ты, Валечка? Я страшно волнуюсь. Не знаю, куда послать тебе письмо. Все же посылаю в Таллин. В надежде, что ты туда на своем объекте попадешь. Мы досрочно сдали сессию и теперь ожидаем. Говорят, нас отправят на оборонительные работы. Рая сегодня мне сказала, что к ней забежал попрощаться твой друг Вадим. Он зачислен в курсантскую бригаду. А ее брат Ося записался в народное ополчение. В Ленинграде большой подъем! Мы все уверены, что скоро фашистов остановят и война закончится полным разгромом этих сволочей. Валечка, откликнись! Я беспокоюсь очень! На всякий случай даю свой кронштадтский адрес: улица К. Маркса, дом 5…»

Тут чтение письма прервал патруль, вышедший из Басти-

онного парка, – старший лейтенант с треугольным лицом и двое краснофлотцев с винтовками за плечами.

– Ваши документы, курсант! – потребовал старлей.

Он прочел увольнительную записку и, вернув ее Травникову, сказал: – Что вы тут стоите, мичман? Город на военном положении, а вы торчите и улыбаетесь, как будто мирное время.

– Улыбаться как будто не запрещено… Ясно, ясно, товарищ старший лейтенант, – поспешно сказал Травников, увидев суровую сталь в прищуре начальника патруля. – Перестаю торчать, иду к себе на корабль.

– С какого вы корабля?

– Прохожу практику на подводной лодке. Мы стоим в Минной гавани. Разрешите идти?

– Идите и скажите своему командиру, что увольнения личного состава отменены.

– Ясно… – Тут Травников заметил на бескозырках краснофлотцев слово «Гордый». – Прошу прощения, – сказал он. – Ваш эсминец спасал экипаж «Гневного», который подорвался…

– Прекратите болтовню, мичман!

– Это не болтовня. На «Гневном» проходил практику мой близкий друг, тоже с последнего курса училища Фрунзе, и если вам известно…

– Известно только, что экипаж эсминца «Гневный» ушел в морскую пехоту, – сказал старший лейтенант. – Разговор

окончен. Марш на корабль!

Травников, козырнув старлею, зашагал в Минную гавань.

Но невольно замедлял шаг. Этот город со своими готическими шпилями и башнями, средневековыми узкими улочками поразил Травникова, когда он сюда приехал в команде фрунзенцев в предвоенные дни июня. Какая-то здесь шла невероятная жизнь – пестрая, легкомысленная. На каждом углу продавали цветы. Под полосатыми тентами сидели в плетеных креслах хорошо одетые мужчины и прекрасные дамы, ели мороженое, пили вино или кофе. Легкий гул голосов, женский смех… В таком городе, подумалось Травникову, должны жить феи и рыцари, алхимики и трубочисты…

Теперь, когда к Таллину подкатывалась война, пестроты на улицах поубавилось, не видно полосатых тентов. Вон идет, топает по булыжнику отряд красноармейцев с винтовками за плечами, и ведет их почему-то флотский командир.

Была у Травникова задумка: воспользоваться увольнением, чтобы на обратном пути подняться в Вышгород и заглянуть в Домскую церковь – цветы положить на могилы адмиралов Крузенштерна и Грейга. Но снова нарваться на патруль? Ну уж нет, япона мать!

В Минной гавани чуть не весь Балтийский флот стоял – у стенок причалов и на внутреннем рейде, на якорях.

Пройдя по стенке гавани в тот угол, где вознесла свои скромные мачты плавбаза «Смольный» и тесной семьей сошлись подлодки, Травников сбежал по сходне на свою «эс-

ку». Вдохнув привычный запах подводного корабля – теплый запах железа, сырости, разогретого машинного масла, – он вошел во второй отсек. Тут сидели за столом замполит Гаранин и инженер-механик Лаптев – разглядывали географическую карту, водили по ней пальцами.

– Ну что, получил письма? – взглянул Гаранин на Травникова. – Значит, так. Подготовь торпеды к выгрузке, Валентин Ефимович. Завтра – выгрузка. Послезавтра становимся в док. Ясно?

Он прошел в каюту командира.

– Валентин, – сказал Лаптев быстрым говорком, – ты, кажется, в географии силен.

– А что такое?

– Командир с замполитом были сегодня в штабе флота, – командующий подводников созвал. Он на карте показал обстановку. Хреновая обстановка. Гаранин говорит, немцы очень в Эстонии продвинулись. Пярну взяли и Хаа… как этот порт называется…

– Хаапсалу.

– Да. Их передовые отряды появились у Марья… Замполит не запомнил. Только помнит, что на «Марья» этот город начинается. Вот Пярну, – ткнул Лаптев пальцев в карту, – а этой Марьи нет. Знаешь ты такой город?

– Нет.

– Гаранин говорит, что комфлоту приказано командовать обороной Таллина. Чего ты уставился? Я тоже не совсем…

Нас ведь не учили сухопутной тактике… А наш командир из штаба флота пришел вот такой… – Лаптев грозно насупился, полуприкрыв раскосые глаза. – Я к нему со своими вопросами насчет дока, а он отмахнулся и прошел в каюту. Он поддатый был… Что-то там, в штабе, случилось…

А случилось вот что.

Созвав подводников, командующий флотом коротко сообщил о складывающейся обстановке. Она была тревожная, на Таллин наступали несколько немецких дивизий, а противостоящая им 8-я армия, отступая с боями от границы, сильно истощена, обескровлена. Флоту приказано оборонять свою главную базу. Оттягивая тем самым часть сил противника с ленинградского направления. Формируется бригада морской пехоты. С кораблей, из береговых частей флота уходят на сухопутный фронт… Необходимо усилить удары по врагу… Подводные лодки недостаточно активны, они должны… будут поставлены новые задачи… В своей речи третьего июля товарищ Сталин призвал драться до последней капли крови за наши города и села… к беспощадной борьбе с дезертирами, паникерами… немедленно предавать суду трибунала всех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны… Мы будем всеми силами…

Комфлот говорил негромко, но веско. Он выглядел утомленным и, казалось, куда-то спешил. Ну да понятно, такая свалилась ответственность – командовать и на море, и на су-

ше. Спросил, есть ли вопросы.

Поднялся капитан-лейтенант Сергеев, представился.

– Товарищ командующий, разрешите два вопроса.

– Давайте. Коротко.

– Есть, коротко. Первый. Лодки, выходя на позицию, не имеют никакой информации о передвижениях кораблей противника. Ищем вслепую. Почему разведка флота…

– Ясно, капитан-лейтенант. Я тоже недоволен работой разведотдела. Разберемся. Второй вопрос?

– Моя лодка имеет повреждения легкого корпуса, текут носовые цистерны, течет топливная. Нужен док. Мы стоим в Таллине восьмые сутки в ожидании…

– Ясно, – опять перебил его комфлот. И, обратясь к начальнику штаба флота: – Распорядитесь, Юрий Александрович.

Он закончил совещание, снова напомнив слова из речи Сталина: «драться до последней капли крови».

После совещания Гаранин поднялся этажом выше – в Пубалт, политуправление флота. Сергеева подозвал контр-адмирал Пантелеев, начштаба флота, уточнил, в каком ремонте нуждается лодка. Сергеев доложил и в приподнятом настроении вышел в коридор. Кажется, получилось удачно, подумал он, решен нервотрепный вопрос с доком.

Он шел по длинному темноватому коридору к лестнице. Вдруг из бокового прохода шагнул к нему человек с нашивками капитан-лейтенанта. Сергеев резко остановился. В сле-

дующий миг он узнал Юрия Афанасьева, друга, однокурсника по училищу Фрунзе.

– Юрка! – он обнял Афанасьева. – Вот встреча! Что ты тут делаешь?

– Тебя поджидаю, – тихо ответил тот.

Сергеев с угасающей улыбкой всмотрелся в друга. Был Афанасьев в курсантское время очень хорош собой; высоко держал красивую голову над развернутыми плечами, и было нечто победительное в его выправке. Сейчас перед Сергеевым будто стоял другой человек: опущенные плечи, согнувшаяся спина, бегающие глаза.

– Узнал, что комфлот вызвал на ковер подводников, и решил тебя повидать.

– А ты что тут делаешь, в штабе?

– Я подследственный, Миша, – не сразу ответил Афанасьев, судорожными движениями пальцев надрывая пачку «Беломора». – Дай прикурить.

– Да ты что, Юрка? – Сергеев чиркнул спичкой. – Как это – подследственный?

Афанасьев присел на подоконник, курил быстрыми нервными затяжками. Вдруг вскинул голову, надвинул на лоб фуражку и посмотрел на Сергеева прищуренным взглядом.

– Миша Сергеев, – сказал он, медленно подыскивая слова. – Запомни, Миша. И всем нашим ребятам скажи. Если услышите, что я… что Афанасьев Юрий струсил… впал в паникерство… то не верьте! – выкрикнул он. – Не верь,

Мишка!

– Юра, да ты что, – растерянно проговорил Сергеев, – с чего ты взял? Такое и в голову не могло прийти…

– Да. А *им* пришло. – Афанасьев сделал страшный нажим на это «им». – И я не могу доказать.

Он опустил голову, зажмурясь, и быстрым движением указательного пальца смахнул выкатившиеся слезы.

– Юра! – Сергеев взял Афанасьева за плечи и слегка встряхнул. – Что случилось? Давай говори!

– Случилось… – Афанасьев покивал. – Случилось, Миша… Случилось, что в Либаве я оказался старшим командиром в группе ремонтирующихся кораблей на заводе «Тосмаре»…

– Знаю, что твой миноносец стоял там на ремонте.

– Да… Мой миноносец «Ленин»… Я радовался, Миша, когда меня назначили командиром… хоть миноносец из старых, но такое имя…

– Давай дальше!

– Бои шли уже в Либаве, немцы к «Тосмаре» прорывались. Утром звонит мне на «Ленин» Клевенский, командир Либавской базы: «Афанасьев, назначаю вас старшим по уничтожению всех кораблей, стоящих на ремонте. Все взорвать! Также и склады боеприпасов и топлива. Срок исполнения приказа – немедленно. Затем – прибыть в штаб базы и доложить мне лично». Ты понял, Миша?

– Ну так правильно. Не оставлять же противнику.

– Правильно. А какая ответственность – ты понял? – Афанасьев еще закурил. – Представляешь, как мы закрутились? Приготовить и заложить заряды, вывести провода… Хорошо еще, что удалось собрать группу толковых минеров… На кораблях людей мало, бóльшая часть экипажей ушла оборонять Либаву… Ну вот, оставшиеся сошли на берег, и где-то в третьем часу дня мы бабахнули… Зажгли, можно сказать, гавань… Являюсь, как приказано, в штаб, докладываю командиру базы об исполнении. Прошу направить меня в морпехоту. Нет, он уходит со своими штабными на торпедном катере и приказывает мне идти с ними.

Отвернувшись, Афанасьев приоткрыл окно, поглядел на улицу, щелчком выбросил выкуренную папиросу.

– Ну а дальше, Юра? – спросил Сергеев, вдруг ощутив, как тревога подкатывает к горлу.

– Дальше… Пришли мы в Таллин. Заявляюсь в штаб флота, в кадры, за новым назначением. Мне велят: ждите. Жду несколько дней, ночую тут же в комендантской роте. Вдруг – вызывают в прокуратуру на допрос. Как вы посмели взорвать корабли и склады? Да приказ получил такой! Не было приказа, а было самовольство… Мишка, ты поверишь? Глазом не моргнув!

– Кто не моргнул?

– Командир Либавской базы! Его вызвали на очную ставку, и он, даже на меня не взглянув, говорит следователю: «Такого приказа я не отдавал. Уничтожение кораблей и скла-

дов – это самовольство Афанасьева. Паникерство и трусость»… Нет, ты можешь понять такое, Мишка? Я – паникер!..

Соскочил с подоконника, сунулся в угол коридора, вернулся, с силой выговорил Сергееву в лицо:

– За что?! За что он хочет меня расстрелять?!

– Кто? – прохрипел Сергеев.

– Товарищ Сталин! Я за него жизнь готов отдать, а он третьего июля чтó сказал? Трусов и паникеров – немедленно под трибунал! Вот комфлот – во исполнение приказа решил меня обвинить…

– Юра, – сказал Сергеев, глаз не сводя с красного, кричащего об ужасе лица Афанасьева. – Юра, трибунал не может ведь так… без доказательств… разберутся же…

– Нет! На лице следователя все написано… Пропал я, Миша… – Теперь слезы текли и текли по щекам Афанасьева. – Ты за меня повоюй…

– Юрка! – Сергеев рванулся к нему, обнял.

Они постояли несколько мгновений, обнявшись. Вдруг Афанасьев отвел руки друга, посмотрел на часы.

– Через сорок минут – опять на допрос. Миша, всем ребятам скажи: не виновен Афанасьев. Ни в чем! Прощай, Миша!

Резко повернулся, пошел к лестнице в конце длинного, полутемного, равнодушного к судьбам человеческим коридора.

Сергеев не стал дожидаться Гаранина, вышел из штаба флота, повернул влево, увидел свою короткую – по полуденному времени – тень, остановился.

Кинуться обратно в штаб, найти там этих, прокуроров-трибунальщиков, прокричать им, что нельзя так… нельзя Юру Афанасьева к расстрелу! Никакой он не трус, отстаньте от него, мать вашу…

Бессмысленно. И разговаривать не станут. «Не лезьте, – скажут, – не в свое дело, капитан-лейтенант».

И пошел капитан-лейтенант Сергеев в Минную гавань, гоня тень перед собой. Вдруг увидел кафе, «kohvik» по-эстонски, толкнул стеклянную дверь, вошел в темноватую прохладу.

Свободных столиков много. Сергеев сел, постучал пальцами по чистой полированной столешнице. Подошел пожилой официант с желтой лысиной, вопрошающе посмотрел на Сергеева.

– Стакан коньяка, – сказал Сергеев.

Официант молчал.

– Вы не понимаете по-русски?

Официант молча повернулся, ушел в глубину зала. Минуты две спустя он вернулся, приведя с собой хорошо одетого человека с черной бабочкой, с вьющейся рыжеватой прической.

– Что вы хотите? – с легким акцентом спросил рыжеватый.

– Стакан коньяка.

– У нас сегодня закрыто.

– У вас открыто. Вот же сидят люди за столиками.

– Уже закрыто, – повторил рыжеватый. – Все закрыто, господин офицер.

Тут его окликнул сидевший за соседним столиком человек, чье лицо, как бы вытянутое за нос вперед, было обрамлено седой шевелюрой и седой бородкой. Они заговорили по-эстонски. Рыжеватый резко возражал седому, потом вдруг махнул рукой и быстро удалился.

– Вам принесут, – сказал Сергееву седой. – Если разрешите… – Он с чашечкой кофе поднялся.

– Да, пожалуйста, – сказал Сергеев.

Седой человек пересел к нему за столик.

– Плохая обстановка в городе. – Эстонец по-русски говорил чисто. – Многие люди в Таллине ждут прихода германских войск.

– Ждут, но не дождутся, – сказал Сергеев, набивая табаком трубку.

– Может быть, и так, – согласился седой. – Вы, конечно, знаете лучше, какие у вас… э-э… оборонительные силы.

Тут пожилой официант принес бокал с коньяком, молча поставил перед Сергеевым.

Сергеев отпил сразу полбокала. Хмуро взглянул на седого эстонца, закурил трубку.

– Но есть люди, которые вам чувствуют, – сказал тот, от-

пивая кофе.

– Сочувствуют, – поправил Сергеев.

– Да. Например, я. Знаете, почему, господин офицер? Я служил на русском флоте.

– На каком корабле?

– Был линейный корабль «Петропавловск», я служил там машинистом.

– Линкор «Петропавловск», – сказал Сергеев, – после кронштадтского мятежа переименован в «Марат».

– Да-да, я знаю. «Марат». У вас его любят, а во Франции…

– Вы участвовали в мятеже? – Сергеев еще отхлебнул из бокала.

– Ах, господин офицер! – Эстонец улыбнулся, от чего глубже обозначились морщины на щеках. – Нас обманули с оптацией…

– Что это такое?

– На кораблях служили и люди из западных губерний. Из Эстонии, вот как я, из Латвии. Мы были, как сказать, ну – знали свое дело…

– Специалисты.

– О! Верно. В двадцатом году нам обещали оптацию. Значит, выбор гражданства и отправку на свою родину. Эстония ведь объявила независимость. Но нас не отпустили. Да, специалисты! Флот уже не воевал, но – не отпустили. Мы были недовольны…

– Так это вы, эстонцы-латыши, подняли мятеж?

– Нет, господин офицер! У русских матросов было очень большое недовольство. Мы не вмешивались.

– Матросы пошли за белогвардейским генералом.

– Нет! Все было совсем не так, господин офицер…

Но у Сергеева иссякло терпение. Какого черта? Своих забот хватает. Он залпом допил коньяк, подозвал лысого официанта и расплатился. Кивком простился с седым эстонцем и вышел из кафе.

На мостике лодки его поджидал Гаранин с широкой комсомольской улыбкой: только что со «Смольного» сообщили, что послезавтра – постановка в док.

– Прекрасно, – буркнул Сергеев, спустился, прошел в свою каюту и бросился ничком на койку.

* * *

Опять не поднять головы. Проклятые минометы. Немцы бьют по берегу Пириты, речку заволокло черным дымом, в траншеях морской пехоты удушающая вонь сгоревшего тола. Есть раненые. Что же вы, зенитчики, мысленно взывает мичман Травников, прижавшись к песчаной, осыпающейся стенке траншеи, что же ты молчишь, лейтенант Барыбин?

Батарея зенитно-артиллерийского дивизиона, которой командовал Барыбин, прикрывала мост через Пириту, когда немцы прорвали оборону и вдоль Нарвского шоссе устремились к восточным предместьям Таллина. Тут они наткну-

лись на бригаду морской пехоты полковника Парафило, а храбрый лейтенант Барыбин, оказавшийся в боевых порядках бригады, все свои четыре зенитных пушки опустил на сухопутные цели.

Ага, сквозь пронзительный вой мин – звонкие удары барыбинских пушек. Давай, давай, лейтенант! Говорят, ты ранен, но держишься как надо. Давай, родной, не жалей снарядов!

Заткнул Барыбин пасть немецким минометам. Тишина. Только справа – очереди пулеметов, хлопки винтовок. Там, в парке Кадриорг, тоже с утра разгорелся бой.

Травников отряхнулся от песка и сунулся к ручному пулемету Дегтярева. «Дегтярь» был на месте, стоял, раскорячившись лапами, на бруствере. Алеша Богатко, второй номер у Травникова, уже возился там, очищал пулемет тряпкой.

– Порядок, Валя, – сказал он и, сняв бескозырку, помахал ею перед веснушчатым носом. – Фу, набздели, дышать нечем.

Богатко в душе был артист. Его хорошо знали в училище: на концертах самодеятельности Богатко выступал с художественным свистом. Мог просвистеть все, что пожелаете, хоть арию Ленского, хоть «С одесского кичмана бежали два уркана». Он и был родом из Одессы. Вчера под вечер, когда отбили очередную немецкую атаку, когда поужинали сухим пайком – сухарями и консервами, – кто-то из ребят крикнул: «Алеша, свистани что-нибудь для души!» Богатко подумал

пару секунд, облизал губы, задрал голову к небу, в котором медленно таяли дымы войны, и повел прекрасным чистым звуком арию Герцога из «Риголетто». Ах, как он свистел!

Когда отзвучал долгий заключительный звук, с той стороны Пириты, с немецких позиций вдруг донесся выкрик:

– Карашо, Ванья! Pfiff noch einmal![3]

А встретились Травников и Алеша Богатко три дня назад в Минной гавани. Приказом комфлота все практиканты-фрунзенцы, еще остававшиеся на кораблях, сошли на берег, построились на стенке близ небольшого судна «Пиккер», на котором держал свой флаг командующий флотом. Гремело и грохотало вокруг. Противник обстреливал гавань. Корабли на рейде вели непрерывный огонь по заявкам частей, обороняющих Таллин, – крейсер «Киров», лидеры «Ленинград» и «Минск», эсминцы, укрываясь дымзавесами от немецких корректировщиков. В черно-фиолетовом дыму, накрывшем гавань, просверкивали огненные вспышки корабельных орудий.

С борта «Пиккера» сошел вице-адмирал Трибуц. Шеренги фрунзенцев замерли в стойке «смирно». Война войной, а строевая дисциплина – сама собой. Равнение – как по линейке. Поднятые подбородки. Правая рука на ремне винтовки.

Комфлот прокричал сквозь орудийный гром:

– Узнаю вас по выправке, товарищи курсанты! Не скрою – на горячее дело идете. Бейте врагов, как били их ваши отцы и

[3] Посвисти еще раз! (*нем.*)

деды. За землю советскую, за родное Балтийское море – ура!

Протяжно прокатывается по шеренгам «ура».

– Нале-е-во! – выкрикивает командир роты. – Ша-агом марш!

А командир роты – курносый выпускник училища, новоиспеченный лейтенант Кругликов. Недавно на первомайском празднике в училище он танцевал с молодой женой, – она, хорошенькая брюнетка в цветастом платье, поглядывала на него со счастливой улыбкой, – такая заметная пара молодоженов среди голубых воротников. Теперь лейтенант Кругликов, строго сдвинув брови, повел роту фрунзенцев «на горячее дело» – в бой у восточных окраин города, где истекала кровью Первая бригада морской пехоты.

Били строевой шаг под одобрительным взглядом комфлота. А выйдя из ворот гавани, пошли вразнобой. Слева горел-догорал заводской корпус. Скрипело под ботинками выбитое стекло.

Травников в строю оказался рядом с Алешей Богатко, спросил, где тот проходил практику – не на эсминцах ли? Нет, Алеша был на морских охотниках.

– На катерах служба – лучше не бывает, – сказал он убежденно. – А где практиковался ты, Валентин?

Травников изложил коротко: был на «эске», подводной лодке, потопили немецкий минзаг, а после выхода из дока в июльском походе – еще и танкер потопили торпедами и корабль охранения артогнем.

Рота фрунзенцев, пополнив выбитый состав Первой бригады, заняла позиции на развилке дорог, у речки Пириты, близ побережья Финского залива. У них за спиной бронзовый ангел поднял к облакам большой крест – то был памятник броненосной лодке «Русалка», погибшей в шторм в 1893 году, памятник, воздвигнутый на добровольные взносы моряков и их семей. В постаменте была плита с фамилиями всех членов экипажа «Русалки», и шла крупная надпись: «Россіянѣ нѣ забываютъ своихъ героевъ-мучениковъ».

Воевать на суше курсантов-фрунзенцев никто не учил. Военная необходимость обучала. Первое дело, конечно, – рой окопы полного профиля, иначе и получаса не проживешь. Ну а потом – если уцелел при артобстреле, предшествующем очередной немецкой атаке, то стряхни с себя песок и удушье, подними голову над бруствером – и твои руки сами прижмут к плечу винтовку или ручной пулемет, и палец ляжет на спусковой крючок. Вот и вся недолга́.

Опять ударили их минометы. Сквозь заложенные уши услышал Травников чей-то крик: «Ротного поранило!» Ох и огонь! Вжавшись в песчаную стенку траншеи, Травников уже и не знает, на каком он свете…

Конец обстрела. Сменить позицию! Он тащит «дегтярь» в соседнюю стрелковую ячейку. Там лежит, раскрыв рот в последнем глотке воздуха, убитый курсант. Алеша Богатко, притащивший коробку с дисками, закрывает убитому рот.

Час, а может два, отбивается рота фрунзенцев от настой-

чивых немецких атак. «Дегтярь» раскалился, это опасно, надо бы обвернуть ствол мокрыми полотенцами, да где их взять…

Неожиданно пала темнота. Вот же, целый день сумели прожить – и отбились, отбились!

Но потери велики. В грузовичок, подъехавший со стороны «Русалки», грузят раненых – их повезут в школу на Нарва-манте, где развернут полевой госпиталь. Вот Кругликова, комроты, поднимают в кузов. Где твой новенький китель, Кругликов? Нет кителя, широкая повязка с большим пятном крови на груди. Бледное лицо, частое трудное дыхание… Ох, не жилец ты, лейтенант Кругликов…

Под моросящим дождем курсанты, уцелевшие от огня, выкапывают братскую могилу для курсантов, убитых в этот проклятый день августа.

И по приказу комбрига передвигаются вправо, уходят разбитой дорогой в парк Кадриорг, на новые позиции.

– Подъем! Вы что, дрыхнуть сюда пришли? Па-адъем!

Фрунзенцы, лишь часа полтора назад расположившиеся в пустой землянке, недовольно ворчат, щурясь на фигуру, заслонившую у двери землянки слабый свет раннего утра:

– Отдохнуть не даете… Чего раскричался?.. Всю ночь не спамши…

– Па-адъем! – не унимается крикун.

Кто это? Старшекурсники уже узнали его по высокому го-

лосу, по манере растягивать гласные. А Травников, как услышал этот голос, так и встрепенулся, стряхивая сон. Шагнул к крикуну:

– Жорка… Ты живой… Япона мама…

– Валя! – Георгий Горгадзе, радостно хохотнув, обнимает друга, прижимается к его рту жесткими усами, пахнущими табаком и порохом. – А говорили, ты на подлодке погиб под глубинными бомбами.

– А ты – на «Гневном», на минном поле.

– Да, был я на «Гневном». Ну, это отдельная тема. Расскажу, если… Ребята! Земляки-фрунзенцы! Через час немцы в атаку пойдут, у них это по часам, ясно? А сейчас – быстро к восточному углу дворца, там полевая кухня, чаю попьете. Ну, быстро!

И повел их Горгадзе к розовому с белым, но закопченному военными действиями дворцу, некогда поставленному здесь царем Петром для Катеньки своей, Екатерины Первой. (Да и весь парк вокруг дворца носил ее имя на эстонский лад: Кадриорг.) Он, Горгадзе, был старшиной роты, в которую влилось нынешнее ночное пополнение. А у старшины роты, ясное дело, обязанностей – сверх головы.

Дождь, моросивший всю ночь, вдруг припустил, словно вознамерившись потушить пожары, полыхающие в Таллине. Какое там… никакому дождю не загасить море огня…

Курсанты, напившись чаю с сахаром, заняли позиции в парке, под старыми дубами, под липами, чьи еще не облетев-

шие листья трепетали от ужаса войны. Травников был наслышан о белках, обитавших в Кадриорге, принимавших корм из ладоней людей, – куда же вы, белочки, подевались?

– Валька, – сказал Горгадзе, – ты с «дегтярем» вон в той боковой траншее устройся. Немцы пойдут – ты им в левый фланг ударишь.

– У меня всего два диска осталось.

– Мои помощники сейчас начнут боезапас разносить по траншеям. Принесут тебе диски, я им скажу.

А вскоре началось. С разнузданным воем понеслись по парку мины, рявкнули пушки, вывороченная земля обрушилась на головы, кто-то заорал от боли, горячие осколки находили кого-то…

Отбились и в этот день августа. Помогли морпехоте устоять пушки канонерских лодок «Москва» и «Амгунь». Корректировщики, лейтенант и его радист, устроились на втором этаже дворца и приспособились направлять огонь канлодок на атакующие цепи противника.

И, не умолкая, работала тяжелая артиллерия – крейсер «Киров» и береговые батареи на островах Аэгна и Найссар. Им, так же, как и лидерам и эсминцам, были «нарезаны» секторы огня по всему периметру обороны. Артогонь – без него не сдержать бы немецкие дивизии.

Но было ясно всем – от комфлота до последнего матроса и солдата: Таллин не удержать. Ну еще несколько дней – а потом?

Вечером, в начале короткой ночной передышки, в траншею Травникова спрыгнул Горгадзе.

– Валентин, ты живой? И ты, Богатко? Ну как же, помню тебя, ты же свистун знаменитый. Вот, ребята, последнюю коробку берег, – давайте, курите.

Он раскрыл коробку эстонских папирос «Викинг».

– Слабенькие, – сказал Травников, закурив. – Но приятные.

– Ва-алька! – Жора Горгадзе, обросший, темнолицый от загара и пороховой гари, раскрыл в улыбке белозубый рот. – Вот же повезло, свиделись мы. А как твоя Маша?

– Не знаю, где она. Писала, что студентов направляют на оборонительные работы. А может, домой уехала, в Кронштадт.

– А-а, Кронштадт! Сейчас открою вам, но это пока тайна, ясно? Комбат сказал, что есть приказ оставить Таллин и уходить на кораблях. В Кронштадт.

– Ну правильно, – сказал Травников.

– А как уходить? – продолжал Горгадзе. – Чтоб на плечах уходящих войск немец не ворвался в город и не расколошматил флот в гаванях, отрыв будет не простой. Вот какой будет отрыв. Контратаки! Понятно? Контратаки по всей линии обороны. А как стемнеет, начнется отход, посадка на корабли. Под прикрытием артиллерии. Всю ночь будут держать немца под огнем. Пока не отойдут части прикрытия.

– Мы тоже часть прикрытия? – спросил Травников.

– Ну да. Мы уйдем последними. Сядем на кораблики – и гуд бай, Таллин! Гуд бай, май дарлинг Элла!

– Это еще кто?

– Блондиночка тут одна. Еще до войны было, зашел я в парикмахерскую, а там золотое сияние! Чес-слово, сияние шло от ее головы. Я, конечно, заволновался. Дождался, когда ее кресло освободится, сел и говорю: «Красавица, сделайте и меня красивым вокруг ушей». Она немного по-русски понимала. Засмеялась и говорит: «Вы не есть красивый». Ну, трали-вали. Спросил, как ее зовут, и предлагаю: «Элла, а можно пригласить вас в кафе?» По-ихнему кохвик. «Нет», – говорит она и стрекочет ножницами над моими ушами. «Сегодня нет, – говорю, – а завтра?» – «И завтра нет». – «Элла, я заберусь на Длинного Германа и брошусь в море». Она смеется и говорит: «Можно только… не знаю по-русски… дэй афтер ту морроу…» – «А-а послезавтра!» – «Да. У меня рест-дэй». Ну, чудненько, договорились встретиться, у меня душа поет, как Пантофель-Нечецкая. И тут все – по закону подлости. Послезавтра с самого с ранья уходим в море, а еще послезавтра – война.

– Так и не увиделись?

– Где ж тут увидеться? – Пригорюнился Жора Горгадзе, от недокуренного «викинга» прикурил новую папиросу.

– Жорка, если не хочешь, не отвечай, но… что у вас случилось на «Гневном»?

– А то и случилось, – не сразу ответил Горгадзе, мрачнея

взглядом. – Шли на морской бой, а нарвались на минное поле.

И он рассказал, как вечером 22 июня вышел в море отряд кораблей – крейсер «Максим Горький» и три эсминца – «Гордый», «Гневный» и «Стерегущий». Ему, мичману Горгадзе, мерещилось, что предстоит бой с немецкой эскадрой – долгий артиллерийский бой, подобно когдатошнему Ютландскому. Никто не знал, вошла ли уже эскадра противника в наши воды, но считалось это вполне возможным.

Шел отряд белой ночью по тихой воде, приближаясь к устью Финского залива. «Гневный» шел головным, он и наткнулся на первую мину. Взрыв страшной силы подбросил эсминец, обрушил на него столб воды и обломков, обжег клубами пара. С разрушенным носом, перебитыми магистралями, оборванной бортовой обшивкой закачался «Гневный» на взбаламученной воде.

– Меня застигло у кормовой стотридцатки, – говорил Горгадзе. – Башку разбило при падении, но глаза-то видят… Много раненых, кричат от боли… В воде полно голов – кого взрывом сбросило… Старпом орет в мегафон про борьбу за живучесть… Командир ранен, механик убит… Пытались пластырь завести, не вышло, вода затопляла корабль…

И тогда шедший на крейсере командир отряда кавторанг Святов приказал снять с «Гневного» экипаж, а корабль затопить. Малым ходом эсминец «Гордый» подошел к «Гневному», и началась долгая переноска убитых и раненых, пере-

ход уцелевших. Все это происходило обманчиво прекрасной белой ночью – второй ночью начавшейся войны – на минном поле. Оно, минное поле, еще до начала войны незаметно выставленное противником, будто не хотело ограничиться одной жертвой. Только «Гордый» закончил работу спасения и отошел от обезлюдевшего «Гневного», как ночь содрогнулась от нового мощного взрыва. Мина взорвалась под корпусом «Максима Горького». Когда опал гигантский столб огня и воды, все увидели, что у крейсера оторван нос по первую башню. Крик ужаса, исторгнутый у очевидцев, взлетел к задымленным небесам. Задним ходом «Максим Горький», вот же удача, сохранивший плавучесть, выбирался с минного поля. Выбирался и эсминец «Гордый», и тут…

– Опять взрыв, – говорил Горгадзе. – Мы, снятые с «Гневного», сидим в кубрике… Эсминец здорово тряхнуло, свет погас… В полной темноте рванулись к трапу. Давка, ор, мат… Сверху кто-то орет, чтоб не лезли наверх… Ну, тут свет дали… прокричали, что мина не корабль порвала, а только параван… Успокоились мы…

Однако в шесть утра опять рвануло – у левого борта. Досталось «Гордому». В пробоину хлынула вода. Но храбр был командир корабля Ефет, и под стать ему – команда. Быстро завели пластырь, взвыли водооткачивающие насосы. Корабль потерял ход, но остался на плаву. Ефет получил от Святова приказ добить «Гневный», все еще качавшийся на минном поле. И стотридцатки «Гордого» откры-

ли огонь – то были первые залпы войны, но не по противнику, а по своему – по невезучему собрату. «Гневный», объятый пожаром, затонул. Канонерская лодка «Москва», вышедшая навстречу отряду, привела «Гордый» на буксире в Таллин. «Максим Горький» дошел своим ходом. Им, крейсеру и эсминцу, предстоял большой ремонт на Морском заводе в Кронштадте.

– Ну вот, – сказал Горгадзе, – такие пироги. Команду «Гневного», кого поранило, – в госпиталь. Там и меня заштопали. – Он, сняв мичманку, потрогал свой затылок. – А потом всех нас – в морскую пехоту. Такие пироги, – повторил Горгадзе. Его лицо, с черными усами, с большими темными глазами, освещали сполохи пожаров. – Скажи, Валя, разве та́к мы представляли себе войну?

– Нет.

– Почему же так плохо воюем? Немцы приперлись вплотную к Питеру… вплотную к Таллину… Что случилось с нашей армией? Где наши танки, где авиация? Почему корабли гибнут не в бою, а на минных полях? Что – проспали, просрали постановки мин? Почему не противодействовали?

– Наша лодка потопила минзаг, выставлявший мины у Ирбенского пролива, – хмуро сказал Травников.

– Вы потопили, молодцы, а сколько минзагов поставили мины, и никто им не мешал?

– Жорка, давай поспим немного. На твои вопросы никто не ответит.

– Знаю. – Горгадзе воткнул окурок в стенку траншеи и поднялся. – Знаю, что нет ответов. А здесь, – приставил он палец к груди, – горит у меня.

– У меня тоже, – сказал Травников.

– Ну, пока, ребята. Завтра трудный будет день. Попробуем остаться живыми.

Что может морская пехота?

Морская пехота все может. Прикажут стоять насмерть – она стоит. Прикажут пойти в контратаку – она пойдет. Только умирать не надо приказывать морской пехоте. Это – не по приказу делается, а по судьбе.

Она, судьба, у каждого своя.

27 августа был днем судьбоносным. Немцы подступили к восточной окраине Таллина и прорывались в город. Прорыв нельзя было допустить! Он сорвал бы эвакуацию, разработанную штабом флота. Вместо организованного отхода и посадки войск на корабли возникли бы уличные столкновения, кровавые бои в гаванях – стихия войны грозила гибелью гарнизону Таллина и флоту.

Сдержать противника!

Выло и грохотало железо над парком Кадриорг. Шел несильный дождь. По обрубленным аллеям, по перепаханным цветникам бросилась в контратаку морская пехота. Пулеметный огонь прижимал к земле, но снова – вперед, вперед, ура-а… – поднимались живые и метр за метром… под

усилившимся дождем…

Уже не помня, на каком он свете, с винтовкой наперевес, бежал Валентин Травников – падал, полз среди мокрого кустарника – но снова по свистку, по выкрику ротного – вперед, впере-о-од… И только вот это – добежать до немецких позиций, достать штыком – только это – больше ничего не осталось в жизни – да и сама жизнь – была или почудилась?..

Нет, не добежать, все плотнее огонь. Короткими перебежками – назад, к своим траншеям. Кто уцелел – назад…

А кто не уцелел, остались лежать среди кустарников Кадриорга. Тут и там лежали фрунзенцы, на бегу остановленные пулями. Лежали, кто навзничь, кто ничком или скорчившись, в своих черных бушлатах, мало пригодных для сухопутных боев. Молодые, ни до чего, кроме войны, не дожившие, они остались лежать в Кадриорге, проклятом парке, – и не было никакой возможности их похоронить.

Даже и тебя, Горгадзе Георгий, друг дорогой. Бросившись наземь после короткой перебежки, возле куста жимолости, Травников увидел его. Жора лежал под расстрелянным дубом. Пулеметная очередь прошила его грудь – смерть была мгновенной – топорщились усы над оскаленным в азарте атаки ртом – в раскрытых темных глазах, залитых дождем, застыла угроза.

Травников подполз к другу, закрыл ему глаза. Встав на колени, закинул винтовку за спину. Попробовал, взяв под мышки и пятясь, потащить тело Горгадзе к своим траншеям.

Резкий свист пролетевших над головой пуль бросил Травникова ничком на траву, облитую кровью Горгадзе. С головы слетела мичманка. Травников не стал дотягиваться до нее. Мысленно попросив у друга прощения, перебежал, пригнувшись, к реденькому, как непрожитая жизнь, кустарнику. Удушье перехватило ему горло. Он упал и покатился, чуть слышно завывая. Слез не было, нет. И страха не было. Ничего не было, кроме отчаяния. И проливного дождя.

Дождь лил и ночью, когда морпехам, уцелевшим в дневных контратаках, было приказано отходить. Еще ревели орудия тяжелых батарей на Аэгне и Найссаре, удерживая противника от ночного прорыва в город.

Шли молча по Нарва-манте, потом по узким улицам, освещенным пожарами. Где-то справа, может, в Купеческой гавани, гремели взрывы.

В грохоте взрывов, в море огня уходили из Таллина отряды прикрытия.

Вошли в ворота Минной гавани. «Япона мать!» – пробормотал Травников. Гавань-то пуста! Ни «Кирова», ни эсминцев, ни прочих кораблей. Ушел флот!

Ушел недавно: еще не успокоилась опустевшая вода гавани, взбитая винтами кораблей. Так почему-то подумалось Травникову. Хотя, скорее, вода и вообще-то не успокаивалась весь август под немецкими снарядами и бомбами.

Тут справа возникла на причале фигура краснофлотца, –

он свистнул, замахал бескозыркой. Морпехи направились к нему, увидели катер, пришвартованный к стенке. Да не один, а три. То были торпедные катера Д-3, деревянные, довольно поместительные. Спускались, осторожно шагая усталыми ногами по шатким сходням. Разместились на катерных палубах. Травников прислонился спиной к холодной трубе торпедного аппарата и – впервые за четыре или пять минувших дней подумал, что он, кажется, еще живой.

Взвыли моторы. Катера, набирая обороты, пошли к выходу из гавани.

Алеша Богатко, с забинтованной правой рукой, протиснулся к Травникову.

– Валя, у тебя голова мокрая, весь день без мичманки. Дай-ка оботру.

Левой рукой вытащил из кармана бушлата не то носовой платок, не то тряпку, которой протирал «дегтярь», и обтер Травникову голову.

– Спасибо, Алеша, – сказал тот. – Как твоя рука?

– Болит.

Дождь приутих, зато набирал силу ветер. Травников смотрел на удаляющийся силуэт Таллина, на иглу Длинного Германа, с которой был спущен флаг, на башню Толстая Маргарита, на шпили Домской и других церквей, впечатанные в багровое, грозно мерцающее небо.

Подумал: странный город Таллин, наверное, я не увижу тебя больше… прощай…

На внешнем рейде резко усилился ветер. Качались на волнах корабли. Вот он, флот, не ушел еще. Стоят на якорях крейсер, эсминцы, тральщики, подлодки, вспомогательные суда. Грузно переваливаются с борта на борт крупные транспорты. К одному из них и подходят торпедные катера.

По спущенному трапу поднимается морская пехота на его верхнюю палубу. Она кажется такой прочной, надежной – после окопов Кадриорга. Массивный человек с торгфлотскими нашивками на рукавах кителя, зычно прокричал:

– Внимание, морская пехота! Проходите в надстройку, в коридор левого борта. Там и располагайтесь! По каютам не шастать, судно переполнено. На верхнюю палубу не выходить! Гальюн в конце коридора. Все понятно?

– Понятно… Как не понять… – ворчали морпехи. – Все нельзя… Хоть в гальюн можно, спасибочко… Как называется ваш замечательный пароход?

– «Луга»! – крикнул массивный человек. – Не толпитесь, проходите по одному!

В коридоре, неярко освещенном плафонами, двери многих кают были приоткрыты, и пахло оттуда потом, портянками, окровавленными бинтами. Похоже, ранеными солдатами набита эта «Луга».

Но вот что хорошо: крыша над головой и теплая, покрытая коричневым линолеумом палуба под ногами… Морпехи ложились вповалку в длинном, как улица, коридоре. Отоспаться бы, душой отойти от ада Кадриорга…

Алеша Богатко, растянувшись рядом с Травниковым, бубнил, позевывая:

– Я знаешь что вспомнил? В детстве, когда мать говорила «нельзя», я кричал: «льзя!» Дурачок же был… упрямый… Отец плавал старпомом на сухогрузе… в Грецию ходил, в Италию… Он нам с сестрой привозил подарки… игрушки красивые… А потом ушел к другой… Мама на судоремонтном работала… Она, знаешь, очень нервная стала… Ты спишь?

– Почти, – отвечал Травников.

Он противогазную сумку подложил под голову. Не очень-то удобно. К тому же – качка. Но усталость была такая тяжелая, что заснул Травников, и спал бы целую вечность, если б очень ранним утром не разбудил его мощный грохот взрыва. Вскинулся Травников, привычно хватаясь за винтовку.

Готовая ко всему, поднималась морская пехота, прислушиваясь к протяжному грохоту… ко второму, столь же мощному взрыву… что-то там, на внешнем рейде, происходило нехорошее… Ожидали команд: что делать, куда бежать… а бежать-то ведь некуда…

Наконец появился в коридоре замполит, а вернее комиссар бригады (с июля опять утвердили при командирах военных комиссаров – военкомов). Объяснил про взрывы: это взорвали тяжелые батареи на островах Аэгна и Найссар. Всю ночь они держали огневую стену перед немцами, а теперь, когда флот и войска ушли из Таллина, дальнобойные орудия,

сделавшие свое дело, взорваны.

Непогода задержала начало движения флота на восток. К полудню ветер стал стихать, и первый конвой снялся с якорей и дал ход. Около шестнадцати часов двинулся третий конвой, в составе которого шел транспорт «Луга».

Работали машины в недрах судна, мелко вибрировала палуба, и с каждой пройденной милей – подумалось Травникову – мы ближе и ближе к Кронштадту. Раздали еду – по ломтю черного хлеба и по банке рыбных консервов на двоих. Ну, это вообще! Кормят, не пытаются тебя достать осколком или пулей, – что еще человеку надо? Вот с куревом плохо. Папиросы кончились почти у всех. Вспомнил Травников, как ночью спрыгнул к ним в окоп Жорка Горгадзе с коробкой «Викинга»… сладко было затянуться легким дымком…

Алеша молодец: пробрался к дружку-земляку, одесситу, и вернулся от него, неся на обрывке газеты рыжую горсть махорки. Травников свернул цигарки. Разжились огоньком и растянулись на теплой палубе, блаженно жмурясь при каждой затяжке. Ну, чем не хорошая жизнь?

Не знали они только, что к вечеру конвой вошел в минное заграждение Юминды…

Рвануло около десяти вечера. Взрыв оглушительной силы раскатывался долго. Разом оборвалась работа машин. Где-то что-то тяжело падало, сотрясая корпус «Луги». Мотались двери кают, и крики, вой неслись оттуда. Да и морпехи ора-

ли, матерились, бросились из надстройки на верхнюю палубу.

Выскочил и Травников. В облаке горького дыма не сразу разглядел, что делается, – только понял, что судно накренилось на правый борт. Там, справа, горело что-то, и матросы «Луги» сбивали огонь из брандспойтов. «Второй трюм затоплен!» – раздался истошный крик.

Транспорт, все более кренясь, тонул – но медленно. Пытались откачать воду, заливавшую машинное отделение. Из надстройки вылезали ходячие раненые. Одного красноармейца, на костылях, с забинтованной ногой без сапога, опрокинули в толкучке, он упал навзничь и кричал плачущим голосом: «За что? Братцы, за что-о?! А-а-а-а…» Травников поднял его, костыли сунул под мышки.

– Да не ори, – сказал. – И без тебя тошно. Перестань орать!

Лицо у красноармейца было как будто безглазое: темные впадины вместо глаз. Надвинулся страшным лицом на Травникова:

– Морячок, дай закурить перед смертью.

– Нет у меня курева, – отодвинулся от него Травников. – И умирать не спеши. Еще не тонем.

Медленные, как тягучее ночное время, плыли облака. Вдруг открылась луна, проложив золотую дорожку к объятой паникой «Луге», и… Травников вгляделся: да, да, в лунном свете возник корпус судна, которое, похоже, приближалось к левому борту «Луги».

С мостика «Луги» громкий голос прокричал в мегафон:

– На «Скрунде»! Подходить к корме!

Этот пароход с латышским названием «Скрунда» был заметно меньше «Луги». Дымя из высокой трубы, он малым ходом подошел к округлой, перекошенной креном, но пока еще возвышающейся над водой корме «Луги». Тот же властный голос скомандовал: экипажу и ходячим пассажирам – помогать раненым перейти на борт «Скрунды», лежачих переносить.

Стонущим потоком плыли по сходне, переброшенной с кормы на борт «Скрунды», тяжелораненые, – их несли на руках. Травников работал в паре с другим фрунзенцем, третьекурсником Шматовым, бывшим комсомольским активистом. Этот Шматов, маленький ростом, быстро выдохся, и Травникову пришлось без его помощи тащить на руках раненых пехотинцев. Двоих перенес, вернулся на «Лугу», отдышался. Увидел в толпе, скопившейся на корме, давешнего красноармейца на костылях. Тот пытался пройти к сходне, кричал плачущим голосом:

– Братцы, пустите! Пустите меня!

Не пропускали. Травников подался к нему, отобрал один костыль: – Обхвати меня за шею, солдат. И скачи на одной ноге.

Так они вклинились в поток раненых, плывущий по упругого шаткой сходне, и застучал по ней костыль солдата.

На борту «Скрунды» распоряжался старпом, долговязый

латыш в синем свитере, в фуражке с непонятным «крабом». Велел пройти на бак, там скапливались люди с «Луги».

– Как тебя звать? – спросил Травников, отдав красноармейцу костыль.

– Тетушкин я, – отозвался тот плаксивым тенорком.

– А, тетушкин, – кивнул Травников. – Откуда ты, с тетушкой своей?

– Курские мы. С колхоза «Заря коммунизьма».

– Понятно.

– С Восьмой армии я, с десятого корпуса… От самóй границы отступаем, – продолжал словоохотливый Тетушкин, усевшись на палубу возле брашпиля. – Это ж надо, всю дорогу под пулями, под бомбами, – а я живой. А под Таллином прихватило, ка-ак дали по ноге…

– Заживет твоя нога. Живи дальше, Тетушкин.

Травников увидел Алешу Богатко, появившегося на баке, и протолкался к нему.

– Валя! – Богатко обрадованно протянул здоровую левую руку. – А я тебя искал… Ну и ночка! Я слышал, рулевой с «Луги» говорил, что тут мин понаставлено и много кораблей подорвалось.

– Как твоя правая?

– Болит. – Богатко покачал перевязанной рукой. – Там в толпе двинули меня как раз по ней. Спасу нет, как болит.

Они сели у фальшборта.

– Придется потерпеть до Кронштадта, Алеша, – сказал

Травников, поднимая воротник бушлата.

Ветер был холодный. В его посвистывании почудилось Травникову: «Спасли-и-ись…» Волны, набегая на корпус «Скрунды», хлюпали, разбивались, набегали снова. В сплошном гуле голосов с того борта «Скрунды», на который была перекинута сходня с «Луги», доносились выкрики: «А ну, побыстрей!.. Закрепите!.. Чего – закрепите, не видишь, что на борт валится… Давайте скорей, скорее!..» С матерком, понятно…

«Луга» ложилась на правый борт, разрушенный взрывом мины. Водонепроницаемые переборки держали ее почти два часа на плаву, но теперь вода полностью завладевала судном. Все быстрее оно уходило под воду. Мачты легли… мостик и дымовая труба тонули… Со странным звуком – будто с последним вздохом – транспорт «Луга» скрылся под водой… крутилась на месте его гибели огромная воронка…

Страшно, когда на твоих глазах убивают людей.

Но страшно и увидеть тонущее судно…

Работа спасения продолжалась: вытаскивали, бросив спасательные круги или просто канаты, людей с «Луги», оказавшихся в воде.

Затем «Скрунда» дала ход. Но вскоре машина умолкла, судно остановилось. Что еще стряслось?! Боцман, бородатый человек в голубой зюйдвестке, появился на баке и пустил брашпиль. Затарахтела, уходя в клюз, якорная цепь. «Почему? Почему становимся на якорь?» – посыпались вопросы.

С нелегким акцентом боцман громогласно объявил:

– Приказ команди… командýющего, вся колонна стоять до утра на якорь. Капитан просит – вам идти в трюм. Там больше тепло, чем здесь.

В назначенное природой время наступил рассвет 29 августа. Прояснилось небо, очищаясь от предутреннего тумана, от дымов и гари войны, от кошмара минувшей ночи.

Травников проснулся от выкрика какого-то раненого – то ли от боли он крикнул, то ли от страшного сна:

– Уйди! Уйди…

И, само собой, обычное выкрикнул окончание.

Трюм сонно вздыхал, храпел, стонал. И не тепло было тут спать, на слежавшейся соломе. Хотя, конечно, теплее, чем на верхней палубе, под обнаженными небесами.

Море было светлее неба. По его голубовато-пепельной поверхности тут и там колыхались черные округлые полушария. То были макушки мин. Подрезанные резаками тралов там, где прошли тральщики, мины всплыли, их, как положено, расстреливали с кораблей, но было их много, много…

Черные макушки с торчащими рожками, в которых затаился взрыв. Черная гибель на светлой воде. Раннее утро двадцать девятого августа.

А впереди и слева – силуэты кораблей. Стоят на якорях крупный транспорт, похожий на «Лугу», а дальше еще транспортное судно поменьше, а левее – старый миноносец, один

из «новиков». Правильно, что движение флота, всей длиннющей колонны, остановлено на ночь.

Так думал мичман Травников, стоя на верхней палубе транспорта «Скрунда» и потрясенно глядя на Финский залив, словно засеянный ядовитыми семенами войны. (Не знал тогда еще Травников, сколько кораблей и вспомогательных судов подорвалось минувшим днем на минном барьере Юминды.)

Между тем в голове колонны, на фалах крейсера «Киров» взлетел флажной сигнал: сняться с якорей, начать движение. Повторяясь от корабля к кораблю, приказ комфлота облетел всю колонну, растянувшуюся миль на пятнадцать, до замыкающего ее арьергарда. И корабли двинулись на восток, навстречу разгорающемуся костру нового дня.

Дала ход «Скрунда». Травников смотрел, как судно аккуратно обходит плавающие мины, но держится в кильватере впереди идущего транспорта. Ветер бил Травникову в лицо, и чудилось в посвисте ветра: «Спасли-и-ись…»

И уже шагнул он к люку трюма – там все же теплее, чем наверху, – как вдруг новый, но уже хорошо знакомый звук удержал его на верхней палубе. В заголубевшем небе шел «фока», или «рама», как прозвали на флоте немецкий самолет-разведчик «фокке-вульф». По нему открыли огонь. С мостика «Скрунды» заговорил скороговоркой спаренный пулемет. «Рама» быстро удалялась к хвосту колонны – высматривала…

Ну, теперь начнется, япона мать…

И началось.

Вой воздушных моторов быстро нарастал, – и вот они, «юнкерсы», с черными крестами на крыльях, на хищных телах – целая эскадра. Снижаясь, с поворотом на бок, они с устрашающим завыванием сирен накинулись на колонну. Военные корабли встретили их плотным зенитным огнем. А на торгфлотских транспортах, на вспомогательных судах вооружение было слабенькое – пулеметы ДШК на мостиках, иногда и единственная зенитная пушка. Не отбиться от пикирующего бомбардировщика…

Море вскипело от разрывов бомб. Тут и там вздымались водяные столбы. Грохот бомбовых ударов, вой «юнкерсов», зенитный огонь слились в адскую какофонию. Захлебывался на мостике «Скрунды» спаренный пулемет.

А Травников на ее корме будто врос в палубу, невольно пригнувшись. Страшно было ему. И негде укрыться. В трюме ведь не спасешься. Он увидел, как ухнула бомба в транспорт, идущий перед «Скрундой», – сверкнуло там, взметнулось бурое облако, взлетели обломки. Закричал сигнальщик на мостике «Скрунды»:

– Разбомбили «Вторую пятилетку»!

Теперь «юнкерс», описав в задымленном небе большую дугу, устремился на «Скрунду». Спикировал с диким воем сирены. Полыхнуло огнем, взорвался воздух, оглушающий взрыв сотряс беззащитное тело парохода…

Мощная взрывная волна сбросила Травникова с кормы «Скрунды». На какой-то миг он потерял сознание, но холодная вода, накрыв его с головой, пробудила мысль, одну-единственную: вынырнуть… вынырнуть…

Вынырнул, глотнул воздуху, осмотрелся – и удивился тому, что его отнесло так далеко от «Скрунды». Он поплыл к пароходу, над которым еще не рассеялось черное дымное облако, пароход то скрывался за волнами, то появлялся вновь, – и вдруг Травников понял, что «Скрунда» тонет. Сквозь гул моторов «юнкерсов», сквозь грохот бомбовых ударов он услышал страшный продолжительный человечий вопль.

«Скрунда» мелькнула между волнами в последний раз и скрылась. Скрылась навсегда, унося в глубину раненых солдат, защищавших Таллин… город, чуждый им, в сущности…

Травников плыл саженками к месту гибели парохода. Плыл с неясной мыслью о, возможно, спущенной с него шлюпке… или хотя бы о деревянном обломке палубы, за который можно уцепиться… Еще мысль была об Алеше Богатко – как он там, с одной-то рукой…

И была еще мысль о письмах Маши, о комсомольском билете и о курсантском удостоверении, они, конечно, промокли в кармане бушлата, но надо бы их сохранить… а бушлат скинуть… тяжело в нем плыть…

И он проделал все это – сунул письма, билет и удостоверение в вырез фланелевки, за пазуху, и, барахтаясь в воде, стянул с себя и отбросил бушлат. Плыть стало легче, но, наверное, он потерял направление. Никаких обломков «Скрунды» не попадалось. Не видно было и плывущих людей, а ведь не могло быть, чтобы никто, кроме него, не уцелел.

Впрочем… Кажется, мелькнуло темное что-то слева… захлестнуло волной… опять мелькнуло…

Он поплыл в ту сторону – и выплыл прямо на мину. Срезанная с минрепа, огромная, черная, она качалась на воде, выставив поблескивающую макушку с рожками. Здрасьте!.. Травников поскорее поплыл прочь.

Он плыл, плыл, переворачивался на спину, чтобы отдохнуть, и снова плыл, ориентируясь по солнцу, скрывающемуся за негустой облачностью, – плыл на восток. Разумеется, он представлял себе, что находится в середине Финского залива, и где-то тут остров Гогланд, там наша военно-морская база, и если плыть на восток, то может быть…

Может быть, может быть…

Травников плыл теперь экономным брассом, но чувствовал, что устает. Волны, хоть и небольшие, но назойливые, плюхались и плюхались ему в лицо… как только им не надоест, япона мать… эй, послушайте, угомонитесь наконец… не то я велю вас высечь… кто-то ведь, рассердившись на море, велел его высечь… кто?.. никак не вспомню… да это неважно… вот важно то, что профессор одобрил твою курсовую

работу… ты ведь умная у меня… а Кухтина очень жаль, ребята… как же это оставили его на этом острове… как он называется…

Спохватился, что мысли путаются.

Часов у него не было. Но, наверное, уже много прошло времени. Ну да, солнце уже миновало зенит. Где же ты, остров Гогланд?

Устал. Очень устал. И воды, горькой, соленой, наглотался. Лечь на спину, отдохнуть. Только бы не заснуть. Заснуть – тогда все – камнем на дно – на дне очень холодно, наверное, и тихо…

Пена вокруг горла.

Волны плюхаются, бьют по голове.

Не спать, не спать, командует себе мичман Травников. Раскрыть слипающиеся глаза… о, как хочется уснуть…

Вдруг – удар по голове… скользящий, над левым ухом… но болезненный очень…

Травников, вскрикнув, переворачивается на живот.

Что-то медленно проплывает перед ним. Какой-то брус толстый… может, обломок пиллерса?.. черт его знает…

И за эту спасительную деревяшку держится человек. Вцепился намертво обеими руками, и торчит над водой белобрысая голова с полузакрытыми глазами – очень даже знакомая голова – это Шматов, фрунзенец.

– Здорово, Шматов, – хрипит Травников, тоже ухватившись за брус.

Тот не отвечает.

Травников потирает ушиб за ухом, ладонь становится красной. Да это не просто ушиб, а рана. Рана, разъедаемая соленой водой. Хорошо еще, что чертов брус не раскроил череп. Это очень приятный момент, пытается Травников подбодрить себя.

Но брус не выдерживает двоих, погружается. Шматов, не ослабляя хватки, вскидывает на Травникова взгляд, вполне выразительный: дескать, чего вцепился, отвали…

(И – мгновенное воспоминание: на комсомольском собрании в училище Шматов, член комитета комсомола, громит курсанта, пойманного за чтением вредной книги писателя Достоевского «Бесы», – вот такой же был у Шматова яростный взгляд.)

– Давай, давай, Шматов… спасайся… – бормочет Травников, отпуская брус и отплывая.

Он продолжает плыть в восточном направлении. Но плыть все труднее. Он чаще переворачивается на спину и лежит, слегка подрабатывая руками и ногами, – лежит, раскачиваемый волнами, под медленными облаками, под холодным солнцем.

Очень холодно. Особенно ноги мерзнут. Какой ты холодный, прямо как замороженный судак… Кто это сказал?.. Ах, ну да, Рита сказала, старшая сестра… Мы с Лешкой Копновым пошли в лес по грибы… А леса вокруг Губахи дремучие. Заблудились мы, октябрьский день был холодный, без

солнца, заночевали в буреломе, мерзли всю ночь ужасно, наутро поплелись куда глаза глядят, вышли к ручью, напились воды, от которой зубы ломило, пошли вдоль этого ручья. Леха говорит: «Главное, что вода есть, а кушать будем грибы». Я говорю: «От сырых грибов отравимся». Он говорит: «Не отравимся». А я: «Тихо! Замри!» Мне голоса далекие послышались. Поперли на них напрямик. А это нас звали! Лешкина мама и Ритка, моя сестра. И с ними Чемберлен, наш пес лохматый. Он, Чомбик, первым выбежал на нас и – давай прыгать и целоваться. Ритка кинулась ко мне, обняла и кричит: «Валька, какой ты холодный, прямо как судак замороженный»…

Где-то – может, на лесной опушке – дятел стучит и стучит…

Холодно… Глаза слипаются…

Нет!.. Вынырнуть!..

Уже погрузившийся с головой, Травников движениями рук заставляет себя всплыть. Наглотался опять…

А это что? Он прислушивается. Никакой не дятел – стучит мотор! Откуда только силы взялись – Травников поплыл в сторону этого звука. Вскоре мелькнул между волнами катер… скрылся… снова мелькнул…

Тревожно колотится сердце: это же морской охотник, «мошка», он низко сидит в воде, с него могут не увидеть… не заметить голову плывущего среди волн… Закричать!

Травников машет рукой и кричит: «На катере-е!» Но раз-

ве они услышат? Он и сам не слышит своего голоса, тонущего в рокоте моторов.

Но вот морской охотник как-то разом, всем корпусом возникает перед ним. Травников машет, машет рукой: ребята, смотрите, смотрите… смотрите!

На катере смотрели и – увидели.

Оборвался рев моторов. Инерция придвигает морской охотник почти вплотную к Травникову. Ему кидают канат, подтягивают к борту. Матрос, вылезший на привальный брус, одной рукой держащийся за леерную стойку, протягивает вторую руку, и Травников судорожно хватается за нее – за свое спасение.

Его трясло от холода, когда в темноватом катерном кубрике он, с помощью того же краснофлотца, который вытащил его из воды, снял ботинки и стянул с себя мокрую одежду. Его обтерли, одели в сухое и дали стакан спирту. Травников с трудом влил в себя полстакана, запил водой и повалился на койку, но тут же со стоном сел, схватившись за голову.

– Э, да ты ранен, – сказал матрос, увидев кровяное пятно на подушке. – Погоди, не ложись.

Он мигом взлетел по трапу наверх и вскоре вернулся, приведя в кубрик молоденького лейтенанта со знакомым мальчишеским лицом.

– Где рана? – деловито спросил лейтенант. – Поверни голову. Ага, вот. – Он раскрыл принесенную санитарную сум-

ку, достал бинты. – Волосы слиплись от крови, – сказал, осторожно бинтуя Травникову голову. – Повезло тебе, осколок царапнул. Если б на полсантиметра глубже, то…

Травников не стал объяснять, что не осколком царапнуло, а доской ударило. Сил у него хватило, только чтобы промычать «спасибо» и повалиться навзничь. В голове было плохо, цветные пятна плясали перед глазами, даже и когда он смежил веки.

Потом он провалился в сон.

Проснулся Травников от тишины. Сверху доносились какие-то крики, но – моторы не работали. Что там еще стряслось? Почему остановились?..

Он заставил себя встать. Как был в чужой парусиновой робе и босой, поднялся на верхнюю палубу. То ли от порыва ветра, ударившего в лицо, то ли от качки, а скорее от того, что он увидел, Травников не устоял на ногах, сел на световой люк моторного отсека.

Метрах в двадцати от левого борта катера раскачивалась на волнах зеленая от водорослей плавающая мина, а на ней, ухватившись обеи ми руками за рожок, лежал человек с дико взъерошенной гривой желтых волос. Рот у него был разодран как будто в крике, но не было слышно его крика. Кричал с мостика командир катера:

– Слезай с мины сейчас же! Ты слышишь?

Человек смотрел вытаращенными глазами и молчал, не делая и попытки оторваться от мины.

– Слезай! – орал командир. – Или я расстреляю мину вместе с тобой!

Человек продолжал безумную пляску на мине.

С борта гаркнул на весь Финский залив рослый катерник с нашивками главстаршины – должно быть, боцман. Громовым голосом он обложил того человека матом такой плотности, что воздух загустел, и легким звоном отозвалась антенна.

Обращение боцмана подействовало. Человек оттолкнулся от мины и исчез под водой, но вынырнул и поплыл к катеру. Его вытащили, он, в желтой фуфайке и длинных синих трусах, разлегся на палубе и на вопросы отвечал невнятно, кашляя и задыхаясь.

– Чего-то он говорит не по-нашему. Эстонец, что ли? – сказал боцман. – Ты эстонец?

Спасенный человек помотал головой.

Травников спросил: – Ты со «Скрунды»?

– Да, да, «Скрунда», – закивал человек. – Бомба… трах-трах! – выкрикнул он. У него в глазах был застывший ужас.

– Он с парохода «Скрунда», там был латышский экипаж, – сказал Травников. – Нас утром разбомбили…

– Отведите его в кубрик! – крикнул с мостика командир охотника.

– Переоденьте, спирту дайте!

Взревели моторы, завибрировала палуба, катер рванулся по неспокойной воде в сторону, противоположную закат у.

– Чего стоишь босой? – сказал Травникову лейтенант с мальчишеским лицом. – Простынешь. Спускайся в кубрик.

– Сейчас. – У Травникова, и верно, ноги были ледяные. Он поджал пальцы ног. – А я вас знаю, – сказал лейтенанту. – Вы Крутиков, да?

– Да. Я тоже помню тебя, ты ж у нас в училище был капитаном волейбольной сборной. Как фамилия?

– Травников.

– Ага. Я-то не в волейбол играл, а боксом занимался.

– Вы вместе с Кругликовым кончали, да?

– Конечно. Лучший друг. Наши жены родные сестры.

– Лейтенант Кругликов в Таллине командовал нашей ротой. В Первой бригаде морпехоты.

– Да-да! – Крутиков впился острым взглядом в Травникова. – Нас после производства назначили на охотники помощниками командиров. В катер, на котором Витя служил, попал снаряд. Потонули они, но Витя и еще шестеро уцелели – пошли в морскую пехоту. Так ты видел его? Он жив?

– Его ранило.

– Тяжело?

– Да. Я видел, раненых, Кругликова тоже, увезли в госпиталь.

– Значит, ранен Витя. – Крутиков покачал головой.

– Всех раненых из Таллина вывезли, – сказал Травников, – погрузили на транспорта́…

Он умолк, подумав, что Кругликов, быть может, был сре-

ди сотен раненых на «Луге», а потом на «Скрунде»…

Когда морской охотник ошвартовался в Средней гавани, Травников простился с командой маленького кораблика – со спасителями своими – и сошел на стенку Усть-Рогатки, а оттуда в Петровский парк.

Одежда, положенная в моторном отсеке на коллектор, высохла, но ботинки были сыроваты, неприятно холодили ноги, а носки Травников и вовсе выбросил. В парке, вокруг заколоченного досками памятника Петру, толпились моряки и пехотинцы, сошедшие с кораблей, которые прорвались в Кронштадт. Кто-то из здешних командиров басовито кричал в мегафон, повторяя приказ – пришедшим из Таллина построиться и идти в Учебный отряд на Флотскую улицу – там, в Школе оружия, развернут сборный пункт. Но никто из пришедших с моря не торопился строиться. Делились табачком, курили, говорили все разом, каждый о своем – как выжил на переходе под бомбами, уцелел при взрывах мин. Да что ж, радостно были возбуждены оттого, что прошли сквозь погибель и вот – ступили на прочную землю Кронштадта, и значит, можно жить дальше…

Но за гулом их голосов слышался рокот артиллерии – грозный отзвук боя, идущего недалеко, на Южном берегу.

Тут словно с неба свалился пушечный гром – орудия били совсем рядом, на Большом Кронштадтском рейде, где стояли корабли эскадры, – звонкие удары рвали воздух, колотили

по ушам.

– Станови-и-ись! – орал сквозь грохот командир с мегафоном.

Стали строиться. А Травников быстрым шагом помчался к выходу из парка. Ему вслед крикнули: «Эй, обвязанный, куда пошел? А ну, назад!» Но он ускорил шаг, правильно прикинув, что никто за ним не погонится.

Выскочил на Июльскую улицу, осмотрелся. Кронштадт он знал плохо, был тут только на практике после первого курса. Обратился к прохожему – пожилому командиру с интендантскими белыми нашивками: как пройти на улицу Карла Маркса? Интендант окинул его быстрым взглядом (и Травников как бы его глазами увидел себя – давно не бритого, с обвязанной головой, без фуражки, в мятой одежде) и сказал прокуренным голосом:

– Иди прямо, перейдешь мостик, повернешь направо, вдоль Обводного канала. Ты был в боях?

Травников кивнул и зашагал по Июльской, мимо длинного желтого здания бывшего инженерного училища (и еще более бывшего Итальянского дворца), перешел по мостику Обводный канал и повернул направо. Верно сказал интендант: улица, проложенная вдоль канала, носила имя Карла Маркса. Она была неказистая, мощенная булыжником.

Вот и двухэтажный, тоже неказистый, дом номер пять. Перед дверью квартиры Редкозубовых на первом этаже Травников постоял несколько секунд, прежде чем позвонить. Вот

бы Маша открыла ему дверь! Но она, наверное, в Питере. Что ж, по крайней мере он узнает от ее мамы адрес…

Он нажал на кнопку, но звонка не последовало. Травников постучал. Раздались шаркающие шаги, дверь отворила высокая полноватая женщина лет шестидесяти, в байковом халате тускло-серого цвета.

– Здравствуйте, – сказал Травников. – Здесь живет…

Но закончить вопроса не успел. Женщина, пристально глядя сквозь очки светлыми глазами, перебила:

– Вы Валентин? Входите, входите.

По коридору, освещенному подслеповатой лампочкой, она провела Травникова в комнату с окном на улицу (с видом на старую двухмачтовую посудину, торчавшую в канале, может, со времен его прорытия). У окна стоял и курил пожилой мужчина со звероватым лицом, седой, с черными усами и угрюмыми черными глазами.

– Федя, – сказала женщина, – это Валентин. Ты понял? К Маше Валентин явился.

Федор Редкозубов, скользнув взглядом по Травникову, густым басом произнес:

– Стотридцатки.

– Что – стотридцатки? – не понял Травников.

– Стотридцатки бьют. С эсминцев. Это ж на какое расстояние немца подпустили, если стотридцатки достают, мать его…

Женщина перекрестилась.

– Ты слышал, Федя, что́ я сказала?

– Да слышал. – Редкозубов раздавил папиросу в пепельнице, оглядел гостя, протянул здоровенную ручищу. – Ну, давай знакомиться, Валентин.

У него двух пальцев не было на правой – мизинца и безымянного. – Сходи на завод, Тася, Машу позови, – сказал он. – Пусть придет срочно.

– Да ее ж не отпустят. Средь рабочего дня…

– Конькову скажи, что я просил отпустить.

Женщина вышла.

– Так Маша здесь? – Травникова словно теплой волной окатило. – Маша в Кронштадте?

– А где ж ей быть. Весь август.

– Что – весь август?

– За тебя сильно беспокоилась. – Редкозубов дотронулся до повязки на голове Травникова. – В Таллине ранило?

– В море, на переходе.

– Значит, так, Валентин. Я воду согрею, помоешься. Бритва у меня опасная. Ты умеешь опасной?

– Управлюсь. Спасибо, Федор…

– Матвеич.

Прихрамывая, Федор Матвеевич повел гостя в кухню. Там возилась у плиты соседка – тощая женщина в кофте и юбке защитного цвета, придававших ей полувоенный вид.

– Вот, Игоревна, – сказал Редкозубов, – к Маше муж прибыл.

От этого слова – «муж» – Травникова в краску бросило.

– Здрасьте, – сказал он с кивком.

– Приветствую. – Соседка всмотрелась в него. – Ишь, зеленоглазый. В боях были?

– В боях, в боях, – сказал Федор Матвеевич. – У тебя в чайнике вода горячая, Игоревна? Налей-ка вот в кружку, Валентину побриться надо. А то он как дикобраз.

При своей хромоте и тяжеловесности Редкозубов оказался расторопным мужиком. Подкинул дров в топку полупогасшей плиты, поставил на конфорку бак с водой. Травников перед зеркальцем над раковиной густо намылил щеки и подбородок и принялся бриться – в первый раз опасной бритвой. Редкозубов посмотрел на его неуверенные движения.

– Э, да ты не умеешь. Дай-ка бритву.

– Нет, нет. Я сам.

Дело шло медленно. Только соскреб Травников щетину с одной щеки и приступил ко второй, как в коридоре раздались быстрые шаги – и в кухню влетела Маша в синем, косо надетом берете.

– Валечка!

С разбегу бросилась к нему, закинула руки за шею. Целовались, счастливо смеялись, обтирая губы от мыльной пены.

– Господи, Валя, живой! Мой, живой! Валька!

– Дай ему добриться, дуреха, – басил Редкозубов. – Хватит обниматься! Помыть его надо, а не целовать.

– Дед… ты ничего… не понимаешь… – говорила Маша

между поцелуями. – Немытый, небритый… ну и что… Живой!

Травников добривал щеку, глаз не сводя с Машиного лица, а она, оживленная, рассказывала о том, как их, девчонок из университета и других вузов, в июле привезли на какую-то станцию под Лугой, и они в чистом поле рыли противотанковый ров, а над ними пролетали немецкие самолеты и однажды бомбили. А когда их, измученных и голодных, привезли обратно в Питер, она, Маша, отпросилась на факультете и уехала в Кронштадт, домой, и дед устроил ее на заводе своем – он же мастер по ремонту артиллерии, – устроил ученицей токаря в механическом цехе, и она – «ты представляешь, Валечка?» – так быстро научилась точить по чертежу металлические заготовки, что ей на днях третий разряд дали…

Травников сказал:

– Молодчина.

Он любовался ее лицом, светло-карими глазами, в одном из которых сияло золотое пятнышко, знакомыми движениями ее рук, раздвигающих на лбу два крыла волос. Ради одного этого, подумалось ему, ради того, чтобы увидеть прекрасное ее лицо, стоило остаться живым.

Вода в баке согрелась. Редкозубов с его, Травникова, помощью, перенес бак в чулан, отгороженный от уборной, тут имелся слив в канализацию. Травников намылился черным бруском хозяйственного мыла, окатывал себя горячей водой, постанывая от удовольствия. Тем временем Маша простир-

нула его тельняшку и трусы, прогладила фланелевку и брюки. Потом его, одетого в просторную рубаху и штаны Редкозубова, усадили за стол. Маша сменила ему повязку на голове (все еще кровоточила рана). Появились на столе бутылка, стаканы, закуска – соленые огурцы и картофельные оладьи.

И не было у Травникова сил прервать нежданное застолье и бежать на сборный пункт. Все равно, подумал он, там долго еще будут чикаться – переписывать, выяснять, кто и откуда…

Маша сидела рядом, она успела переодеться, – очень ей шло темно-коричневое платье, по которому как бы разлетелись оранжевые листья. Ее колено прижалось к ноге Травникова, и радость его объяла от теплоты прикосновения. Вот так бы и сидеть рядышком, никуда не торопясь…

Смущала его Таисия Петровна, бабушка, – она, сжав губы в неровную линию, смотрела на Травникова сквозь большие очки в черной оправе. Чудилось ему нечто осуждающее в этом пристальном взгляде. А дед Редкозубов поинтересовался, пьет ли Валентин неразбавленный спирт, или надо ему разбавить.

– Пятьдесят на пятьдесят? – удивился Федор Матвеевич. – Это ж все равно, что одна вода. У нас так никто не пьет. Ну ладно, вольному воля. – Он плеснул воды в граненый стакан, наполовину наполненный спиртом, и протянул Травникову. – Значит, за то, что ты живой явился. Хотя лучше чистый.

– Что – чистый? – не понял Травников.

– Ну что – спирт. Его разведешь – так никакой пользы.

Нисколько не морщась, Редкозубов выпил свои полстакана чистого спирта, запил глотком воды и захрустел огурцом. Травников пил трудно, сдерживая дыхание: спирт был крепок, да не чист, с запашком неприятным. Но хороши были огурцы и оладьи. Давно уже не ел он такую вкусную еду. Давно не сидел за накрытым столом в жилой комнате, в домашнем, знаете ли, кругу. Он теснее прижал ногу к теплому колену Маши, и такая явилась мысль, что огромная выпала ему удача и ничего с ним не случится плохого…

И он поднял стакан и рассказал, запинаясь слегка, как вчера (или уже позавчера?) бомбардировщик раздолбал транспорт, и он, Травников, чуть не утонул в холодном Финском заливе, но его спас морской охотник, и велели ему выпить спирту, чтобы не помереть от переохлаждения…

– Ну-тк первое дело, – вставил Редкозубов.

– Хочу вам спасибо сказать, – закончил Травников свой тост, – что так тепло меня приняли.

Канонада за окном вдруг усилилась. Стекла дрожали, дребезжали от ударов тяжелых орудий.

– Трехсотпятки ударили, – сказал Редкозубов. – С линкоров. – И, помолчав, взглянул на жену: – Помнишь, Тася. как в двадцать первом? Тоже они палили… мятежные…

– Как же не помнить? – Таисия Петровна нервно вскинула руки к лицу. – Это ж страх был ужасный… Отсюда палят,

оттуда бьют… Капа из сарая как раз дрова принесла, вошла и стоит с охапкой… Я говорю: «Брось дрова», – а она бледная стоит, с дровами, а по щекам слезы, слезы…

– Пойду. – Травников поднялся. – Спасибо большое за теплоту вашу.

Вслед за Машей он вошел в соседнюю комнату. Тут стояли кровать с высокими спинками и у стены напротив – кушетка, над которой задумался вышитый на коврике олень с ветвистыми рогами.

– Это мама вышивкой увлекалась, – сказала Маша.

– Как ее зовут? Капитолина Федоровна? А где она?

– Мама в Морском госпитале работает. Сегодня она на дежурстве. Посиди, Валя, я пойду посмотрю, высохли ли твои доспехи.

Травников взглянул на свое отражение в овальном зеркале, вделанном в дверцу шифоньера, и подумал, что не знаком с этим верзилой с повязкой на голове, с ввалившимися бритыми щеками, в просторной желтоватой рубахе без воротничка и плисовых штанах. «Это вы, товарищ мичман?» – пробормотал он и присел к письменному столу у окна. Тут стопка книг лежала, сверху – «Овод». К чернильнице прислонилась твердая фотокарточка: сидел матрос с суровым лицом, с закрученными кверху усами, с раздвоенным подбородком, в бескозырке, по околышу которой шло крупными буками: «Петропавловскъ». Рядом, положив ему руку на плечо и улыбаясь, стояла Маша в длинном платье. Еще тут

была тонконогая этажерка, а на ней большая ваза с цветами.

– Ты удивительно похожа на маму, – сказал Травников вошедшей Маше. – Просто одно лицо.

– Да, верно. А отца я никогда не видела. Он погиб в Гражданскую. Валечка, посиди немного. Не совсем еще высохли тельняшка и трусы.

Тебе, – добавила она, засмеявшись, – очень идет рубаха деда.

– И его портки, – сказал Травников. – Машенька, я здорово по тебе соскучился.

– И я по тебе. Валя, ты чуть не утонул? Как страшно…

– Чуть не утонул… Чуть не сгорел… Чуть не разнесло на куски… – Он целовал, целовал ее. – А знаешь, почему остался жив?

– Почему?

– Хотел тебя увидеть… Тебя хотел…

– Ох, Валя… Валька… Сейчас… Ну, обожди…

Она откинула с кушетки покрывало и стала раздеваться.

Потом они лежали обнявшись. Маша тихо сказала:

– У нас будет ребенок, Валечка.

– Да? Значит, не задержка была, а…

– Четыре месяца уже. Мама против. Не такое время, говорит, чтоб рожать. И бабушка против. А дед кричит, чтоб никаких абортов…

– Ну и правильно кричит, – сказал Травников. – Время, конечно, не такое, но… Рожай, Маша. Сына! – Он осторожно

погладил ее живот. – Как здорово, будет у нас сын.

– Непременно сын?

– Да! Знаешь, – сказал Травников, помолчав, – я уже его люблю.

– Валечка! – Маша, улыбаясь, прильнула к нему. – Я, по правде, побаивалась…

– Не бойся. Время переменится…

– Боялась, что ты будешь против.

– Ну что ты, Машенька! Что ты!

Они снова слились.

Тельняшка и трусы высохли. Нашлись у деда Редкозубова и носки подходящие. Только фуражки не нашлось. Вернее, извлек дед из ящика комода старую-престарую бескозырку с полустершейся надписью на ленте «Петропавловскъ», но кто же нацепит на себя такой антиквариат?

Сытый и вымытый, обласканный любовью, Травников простился с Редкозубовыми и пошел по Карла Маркса, мимо Гостиного двора, на Флотскую улицу, к красным корпусам Учебного отряда. Шел все быстрее, быстрее, пушечные удары словно подгоняли его.

А Маша собралась вернуться на работу, на Артремзавод.

Редкозубов еще хлебнул спирту и сказал ей:

– Вежливый.

– Ты о ком, дед? О Вале?

– О ком же еще. Мужичок не пустой.

– Он хороший, – сказала Маша.

– Федя, хватит пить, – сказала Таисия Петровна. – Ну да, – взглянула на внучку, – хороший. Но лучше я тебе прямо… не надо, Машенька, за него… не получится у вас семьи…

– Откуда ты знаешь, бабушка?

– Знаю.

– А! – Маша досадливо рукой махнула. – Вечно ты… наперед все знаешь… Все у нас получится! – выкрикнула она и устремилась к двери, натягивая на голову свой синий берет.

Глава пятая
«Вам не видать таких сражений»

Травников, очень загорелый, в каске, под которой белела повязка, шагнул к Вадиму.

– Здорово, Дима.

– Здорово.

– Вот где встретились, – сказал Травников. – У тебя усы рыжие.

– Да. Ты давно из Таллина?

– Тридцатого пришли в Кронштадт.

Он мог бы рассказать Плещееву, как несколько дней в Кронштадте переформировывалась Первая бригада морской пехоты – к тем, кто уцелел в Кадриорге и на переходе, присоединяли пополнение из береговых частей, да и с кораблей снимали, – а потом на баржах перебросили бригаду в Ленинград. Там, в Дерябинских казармах на Васильевском острове, получили винтовки и пулеметы, боеприпасы, каждому выдали каску, – и на машинах, с ветерком – сюда, под Красное Село.

Мог бы, конечно, и о походах на подлодке рассказать, и о боях под Таллином, и о том, как в Кронштадте встретился с Машей. Но Плещеев ни о чем не спрашивал, да и о своих боях не стал распространяться, сказал только:

– Говорят, немцы Чудово захватили и перерезали железную дорогу, – ты слышал?

Тут услыхали они приближающийся свист снаряда.

– Ложись! – крикнул Травников.

Рвануло недалеко. И еще, и еще. Грохочущие кусты разрывов взметывались вдоль дороги, как бы указывая направление, по которому немцы намеревались прорваться в Красное Село, в Лигово, в Ленинград. Дым, смрад, тупые удары осколков… крики раненых… «Ока-а-апываться! – орал кто-то страшным голосом. – Быстро!»

Плещеев вернулся на свою позицию, к отделению своему, в котором был командиром. Спрыгнул в траншею, пока неглубокую.

– Потери есть? – спросил Ваню Шапкина, долбившего землю саперной лопаткой.

– На данный момент нету, – выпалил тот, отирая рукавом фланелевки пот со лба.

Оба повалились на дно траншеи, укрываясь от осколков очередного снаряда, рванувшего поблизости. И услышали звонкие удары пушек, вступивших в дело.

– Оттуда бьют, – привстал и прислушался Плещеев, кивнув в ту сторону, откуда недавно приехали. – С Пулкова, что ли…

Позже, когда умолкли пушки, узнал он от взводного, что, верно, на Пулковских высотах, на Дудергофских тож, расположились морские батареи и бьют по скоплениям войск

противника. А еще ведут огонь корабли с Большого Кронштадтского рейда, с позиций на Неве и в ленинградском торговом порту. Артиллерия флота била по сухопутью – работала сильно, непрерывно, увесисто.

Контузия все же давала о себе знать. Копал Плещеев окоп полного профиля, копал, – но вдруг ноги перестали держать. Он упал, задыхаясь, привалясь спиной к стенке траншеи. Шапкин сказал:

– Отдохни, Вадим. Мы управимся без тебя.

Плещеев вынул из кармана кисет с махоркой, стал сворачивать цигарку. Пальцы неприятно дрожали. Эй, а ну успокойся, мысленно прикрикнул он на себя. На свою усталость непозволительную крикнул.

Пахло сыростью вырытой земли.

А там, по ту сторону дороги, подумал он, окапывается Валя Травников, друг заклятый. Наподдавал я тебе мячей на волейбольных площадках, Валечка. А ты мне ответил *такой* топкой…

Случайная встреча тут, под Красным Селом, разбередила рану. Но… вот что интересно: как-то все это отодвинулось… словно дымом заволокло, пушечными ударами приглушило…

С неба послышался, быстро нарастая, гул моторов. В просветах между дымами разрывов Вадим увидел группу «юнкерсов»… да не группа, а туча бомбовозов шла на север – на Ленинград! В тот же миг представилось Вадиму лицо мамы.

Ее широко раскрытые голубые глаза, ее маленькие, в голубых прожилках, руки, лежащие на столе, рядом с недопитой чашкой чая…

– Вадим! – заорал Шапкин. – Ты видишь? Летят Питер бомбить!

Грозный рокот моторов, предвещавший большую беду, удалялся. Вскоре донесся оттуда, с севера, протяжный, басовито пульсирующий гул бомбардировки. Он был прострочен нервной скороговоркой зениток. Это продолжалось долго.

С ужасом смотрели морпехи из своих окопов на разгорающееся над Ленинградом кроваво-красное зарево.

То, что началось на рассвете следующего дня, трудно выразить словами. Надо быть Гомером… или Данте… не знаю, кто сумел бы описать критические сентябрьские дни у ворот Ленинграда.

«Вам не видать таких сражений…»

Мощный удар начатого фон Леебом штурма имел целью прорыв в Ленинград. Всего-то десять-двенадцать километров оставалось немцам пройти. Главный удар пришелся на измотанные, обескровленные части 42-й армии, в полосу которой накануне прибыла под Красное Село наша бригада морской пехоты.

Рев моторов, грохот бомбежки – так началось утро. «Юнкерсы» повисли над передним краем. Зенитный огонь был сильный, но сбитых – задымивших и рухнувших – «юнкер-

сов» я видел только три. Конечно, сбили (или подбили) больше.

Потом обрушила огненный вал артподготовка.

Ты лежишь на дне траншеи, твои барабанные перепонки чуть не лопаются от сплошного грохота, и уже безразлично – убьют тебя или не убьют, потому что ты уже не ты, все кончено, – и только одна мыслишка бьется в голове, как в клетке: *когда это кончится*?

Но все кончается, стихает огонь, и ты, засыпанный землей, полу-оглохший, поднимаешься, отряхиваешься и видишь: с пологого холма перед твоим окопом сползают темно-зеленые машины немецкой мотопехоты. Они идут по обожженному ничейному полю, идут, чтобы смять, протаранить оборону, раздавить или расстрелять тебя и ворваться в твой город. А у тебя за спиной Пулковские высоты и Воронья гора, и оттуда бьют батареи по машинам, докатившимся сюда из Германии, – и черные кусты вымахивают по всему полю – и черным дымом заволакивает подбитые машины – и вон бегут эти, в зеленых мундирах, фашисты – и ты наводишь винтовку, беря на мушку ближайшего…

После отбитой атаки – новый обстрел, и опять бомбежка, – а в небе ты видишь впервые, как наши истребители, «ишачки» тупоносые, атакуют немецкие бомбовозы, а тех прикрывают «мессершмитты», и возникает безумная воздушная карусель.

И опять идут цепь за цепью зеленые мундиры.

Вам не видать таких сражений…

Ночью хоронили убитых. Много их было, морпехов, не переживших дня беспрерывных боев.

А следующим утром все повторилось.

Не знаю, какими силами отбились от утренней атаки. Нас мало осталось в живых, да и пехотинцев в двух обескровленных стрелковых дивизиях, я думаю, тоже.

Наступило короткое затишье.

Вдруг из дыма и пыли позади наших траншей возникли «эмка» защитного цвета и грузовик, сопровождавший ее. Из «эмки» вылезли несколько военных и направились к нашим окопам, обходя воронки. Впереди шел командир маленького роста в надвинутой на брови фуражке, со странно знакомым лицом, с седыми усами. Постаревшее, но по портретам хорошо знакомое лицо…

Да это же Ворошилов!

Зачем он приехал? Он же командующий, ему нельзя лезть под пули. Ворошилов споткнулся, один из сопровождавших, адъютант, что ли, поддержал его, сказал что-то, но Ворошилов отмахнулся и продолжал идти на передний край. Маршальские звезды на красных петлицах его гимнастерки сияли, как на параде. За ним шли несколько, наверное, штабных чинов и – тесной гурьбой – выпрыгнувшая из грузовика охрана – рослые парни с автоматами.

По траншеям раздались свистки: внимание! – и раскатилась команда, по которой мы, битая, но уцелевшая на данный

момент морская пехота, повылезали из окопов. Мы стояли и хлопали глазами, глядя на легендарного маршала, а он, остановившись, обвел быстрым взглядом нашу неровную цепь, прокашлялся и выкрикнул:

– А-а, моряки! Ну как вы тут? Достается вам?

– Достается, товарищ маршал, – раздалось в ответ. – Крепко достается… Да мы выстоим… Подкреплений бы только…

– Надо выстоять, моряки! За Родину нашу! За честь флота Балтийского! – Опять закашлялся Ворошилов. Провел ладонью по усам. – Ленинград в опасности! – крикнул он. – Отбросим врага! – Снова обвел наши цепи, как мне показалось, каким-то потусторонним взглядом и выкрикнул: – Пошли!

И двинулся к позициям противника, обходя воронки и на ходу расстегивая кобуру, вынимая пистолет. Охрана ускорила шаг, обступила его.

Ну, а мы? А что́ мы, морская пехота, не пойдем за Ворошиловым? «Ура-а-а!!!» – заорали мы и пошли в контратаку – побежали по ничейной земле, опережая маршала. Мы не видели, как его чуть не силой остановили и повели назад, об этом можно было, конечно, догадаться.

Немцы, может, обедали в эти минуты. А может, просто не ожидали контратаки? Так или иначе, огонь они открыли, когда мы уже ворвались в деревню, покинутую жителями.

Немецкая часть, выбитая нами из деревни (немцы побаивались «черных дьяволов» – так называли они морскую пехоту), атаковала нас. Мы отбились. Опять взревели пушки. С

Пулковских высот ударили по немецким позициям морские батареи. День угасал в сплошном реве артиллерии.

А когда стемнело, мы, уцелевшие в контратаке, не имевшей военного значения, отошли к прежней позиции, к своим окопам у дороги на Красное Село.

* * *

Первая бригада морской пехоты заткнула опаснейшую брешь в полосе 42-й армии под Красным Селом и три дня отбивала атаки. Потери были ужасные, к 12 сентября уцелело лишь двадцать процентов личного состава бригады. На исходе этого дня армия – ее сильно поредевшие полки – оставила Красное Село и Дудергофские высоты и отступила к поселку Володарский, к станции Лигово – к юго-западным предместьям Ленинграда. Это был последний рубеж, за ним, невдалеке уже, вытянулись притихшие городские улицы.

Отступление к этому рубежу прикрывала тяжелая артиллерия. Форты Кронштадта, оба линкора – «Марат» и «Октябрьская революция», – крейсера и эсминцы, железнодорожные батареи, почти не умолкая, били по моторизованным немецким дивизиям, прорвавшимся в Петергоф и Стрельну на берегу Финского залива, захватившим Красное Село.

А Пулковские высоты на левом фланге 42-й удалось удержать.

Фельдмаршал фон Лееб готовился к последнему рывку. Потери в группе армий «Север» были огромные, но, подтягивая резервы, фон Лееб подсчитал, что сил у него достаточно, чтобы сломить сопротивление упрямых русских и ворваться в город.

А Ленинград готовился к уличным боям: перегораживали улицы баррикадами, ставили противотанковые надолбы, размещали на важных перекрестках артиллерию и пулеметные точки.

Новый командующий фронтом генерал Жуков, сменивший Ворошилова, железной рукой пресекал растерянность. Срочно усиливал плотность войск, бросая последние резервы на самые угрожаемые участки обороны.

Спешно сформированная из подводников и краснофлотцев учебных отрядов 6-я бригада морской пехоты мчалась на автомашинах к станции Лигово. Сквозь дым и вспышки огня полная луна глядела, как «черные дьяволы» выпрыгивали из грузовиков и занимали позиции, вгрызались в землю.

Близился рассвет. Луна заволоклась облаками, смешанными с дымами пожаров. Обезумевший подлунный мир медленно, неохотно втягивался в новый день.

«…Ты помнишь первомайский концерт самодеятельности? Мы “Яблочко” отгрохали, а с нами, помнишь, две девчонки плясали. Да, помнишь? Клава, так одну звали, ту, что ростом меньше, рыженькую, со смехом…»

«Со смехом?» – переспросил Вадим.

«Ну да. Она ж всегда смеялась, когда плясала – тоже. Она из области, из Тосно, что ли, в Питер приехала учиться на медсестру. А жила у тетки на Загородном проспекте».

«Ты с ней гулял?» – спросил Вадим.

«Ну да. Как увольнение, так я к Клавке. Сидим, чай пьем, тетка про свою жизнь травит при театре, – она шила костюмы в театральной мастерской. Я шуточки отпускаю, а Клавка – ха-ха-ха! Полная эдилия. Да, да, знаю – идиллия. Однажды тетки не было весь вечер, так мы с Клавкой под патефон потанцевали, а потом она – прыг на кровать. Ну и я прыгнул».

«Молодец», – сказал Вадим.

«Трижды я был молодец, – засмеялся Ваня. – Лучше этого вечера не было у меня в жизни. Вот лежим мы, значит, ее голова рыжая у меня под мышкой, и Клавка… ну, как сказать… размечталась. “Мы с тобой, Ванечка, – говорит, – будем знаменитые плясуны. Меня с осени, наверное, возьмут в ансамбль песни и пляски округа. Так ты тоже туда пробейся. А что? Ты здорово пляшешь, – говорит. – Корабли без тебя обойдутся, Ванечка, – говорит и смеется. – Поедем с ансамблем в Москву на день Красной армии, а наш концерт знаешь, кто приедет смотреть? Сам товарищ Сталин!” Вот была у Клавки такая мечта – сплясать для товарища Сталина…»

Теперь, плетясь в хвосте колонны по проспекту Стачек, я вспомнил об этом разговоре – о последнем своем разговоре

с Ваней Шапкиным.

Передышка была меж двух немецких атак (немцы никогда не забывали пообедать – не то что мы). Ваня вспорол последнюю банку консервов. Хлеба у нас не было, сожрали родных бычков в томате так, в натуральном виде. В моем отделении в живых оставались только Ваня Шапкин и Владлен Савкин с первого курса нашего училища. Этот Савкин был сыном какого-то крупного начальника, – может, поэтому он держался несколько высокомерно. Такой невысокий, плотненький, холодные глаза полуприкрыты веками. Но воевал Владлен нормально (если было хоть что-то нормальное на этой войне).

Сидя, значит, в своей траншее, выгребли мы бычков из банки, утерли томат на губах и закурили – махорка была в тот день. Привычно погромыхивала артиллерия, над нашими головами свистела сталь летящих снарядов. Тут-то Ваня Шапкин и вспомнил вдруг о рыжей плясунье Клавке. Жмурясь при каждой затяжке, с улыбкой на худеньком, припорошенном пороховой гарью лице, он рассказал нам с Савкиным о самом счастливом дне своей жизни.

А тут и немец, как видно, отобедал: грохнули поблизости разрывы снарядов, нацеленных на наш передний край. Я осторожно высунул голову над бруствером – посмотреть, что́ там делается, не попер ли немец в атаку. Дым стелился по ничейной земле – дым от горевшей станции. И Ваня приподнялся посмотреть на обстановку…

Полыхнуло огнем, громыхнуло прямо перед нами. Без стона, без крика Ваня Шапкин опрокинулся навзничь. Я рванулся к нему – и застыл в ужасе. На месте лица было у Вани кровавое месиво…

Ночью нас, оставшихся в живых бойцов Первой бригады мор-пехоты, вывели из боя. Наши опустевшие позиции занимала спешно сформированная Шестая бригада. Одних «черных дьяволов» сменяли другие.

Мы шли по разбитой дороге, превратившейся в разбитую улицу с дымящимися развалинами. Тащились со своими винтовками и пулеметами под расстрелянным, багровым небом, мерцающим при вспышках огня дальнобойных орудий.

Сколько было нас, сотни три, не больше, – выбитая бригада – полуживые двуногие существа, охреневшие от грохота, огня и дыма.

Узким проходом обошли баррикаду, перегородившую улицу нагромождением бетонных плит. Из углового полуподвала смотрел ствол пушки.

Уже рассветает. Неужели будет еще один день?..

Сплю я, что ли, на ходу? Почему Травников приснился?

Нет, не снится. Вот он, Травников, в каске, из-под которой видна грязная повязка. Он шел впереди и вдруг остановился. Меня поджидает.

– Ты еле тащишься, Дима. Давай помогу. Держись за меня.

– Не надо, – говорю.

– Смотри-ка, – говорит Травников, указывая на угол дома.

Смотрю, но ничего особенного не вижу. Дом как дом, серый, трехэтажный, неразбитый.

– Не видишь? Название улицы затерто.

Теперь вижу: на синей дощечке название улицы и номер дома замазаны широкой белой полосой. Во как! – медленно удивляюсь я. Это, значит, чтобы противник, если прорвется в город, не знал, на какой он улице?..

– Мы, – говорю, – по проспекту Стачек идем.

– Куда идем – вот вопрос.

– Вопрос в том, – говорю, с трудом шевеля языком, – сохраним ли мы свои скальпы.

Травников смотрит на меня.

– Где ты это вычитал? У Фенимора Купера?

– Что?

– У тебя в усах песок. Дима, ты спишь, что ли?

– Он рядом со мной стоял. Когда рвануло…

– Кто?

– Осколком в голову… прямо в лицо…

– Дима, ты о ком говоришь?

Мы, колонна морпехов, бредем по проспекту Стачек, вдоль пригородной деревни Автово, а впереди уже сквозь дымную пелену проступают крупные дома на Комсомольской площади.

– О Ване Шапкине говорю.

– Шапкин, который в самодеятельности плясал? Жалко его… А ты Алешу Богатко помнишь?

Каждый шаг с трудом дается. Каждая смерть братьев курсантов с трудом дается. Теперь Травников говорит о гибели в Таллине, в парке каком-то, Жоры Горгадзе. Почти никого не осталось в живых – вымерло училище Фрунзе…

Вот и корпуса Кировского завода. Тут довольно многолюдно. Патруль идет навстречу – три солдата и мальчик-лейтенант с суровым лицом, все четверо с автоматами на груди. Немцы сплошь с автоматами, а у нас их мало, этих ППД. Палим из винтовочек образца 1891 года, модернизированных.

Напротив заводской проходной вытянулось длинное здание дворца культуры имени Газа. Он, Газа, был, кажется, путиловским рабочим, героем Гражданской войны. Там афиши какие-то. Большими красными буквами: «Марица». Всматриваюсь, читаю: «Премьера в Театре музкомедии». Вот это да! В семи трамвайных остановках отсюда, от Кировского завода, яростное идет сражение, пехота сухопутная и морская умирает, но не пускает немцев в Питер, – а тут премьера оперетты! Охренеть!

Тащат аэростат: над группой солдат плывет, удерживаемая тросами, надутая воздухом серебристая оболочка. Похожа на гигантскую колбасу. Аэростаты заграждения висят в ленинградском небе. И говорят, что к ним и взрывчатку подвешивают, но я не слышал, чтобы на них натыкались бомбардировщики.

Длинная очередь к магазину. Знаю, что введены карточки на продовольствие. Ну, а очереди – когда их не было? До тринадцатого года? Тьфу, странная какая мысль…

Трамвай! Господи, ну прямо как до войны, идет, звонит, красный, глазастый, с прицепным вагоном. И вот же удача – останавливается у хвоста нашей колонны. И мы, с одобрительными криками и свистом, набиваемся в оба вагона.

Мы едем, едем, качаясь от езды и усталости, я гляжу в окно на свой родной город, – о, я знаю, что́ сейчас будет. Нарвские ворота! И вот они, на месте, и площадь Стачек, она же Нарвская застава, на месте. Бомбили площадь, бомбили, вон яма громадная, воронка…

Ну а дворец культуры имени Горького – он-то на месте? Вот он – выдвигается солидным желто-серым боком. Здравствуй, дворец!

В девятом классе учились тогда, и во время зимних каникул поехали однажды, чуть не всем классом, во дворец Горького на какой-то концерт. И танцы были после концерта. Мы с Аней Смирновой танцевали. Нравилась мне эта веселая золотоволосая девочка с отличной фигуркой, с ее манерой строить глазки. Аня была дочкой видного инженера, который участвовал в строительстве тут, напротив дворца культуры, фабрики-кухни – очень необычного здания из бетона и стекла. Так вот, мы танцевали с Аней, она смеялась моим шуткам, и строила глазки, и учила меня правильно танцевать танго. Кончились танцы, мы высыпали из дворца в морозный

лунный вечер, пошли к трамвайной остановке. Дурачились, сажали друг друга в сугробы. Девочки визжали, хохотали. Ярко горели на площади фонари. Я посадил Аню в сугроб и протянул ей руку, но она сама выбралась и, не отряхнув снег с пальто, накинулась на меня, попыталась посадить в сугроб. И тут – как-то само собой получилось – я обхватил Аню и поцеловал в холодные дрогнувшие губы. Она отшатнулась, воскликнув: «Ах ты какой!» И засмеялась…

В грязном бушлате, с винтовкой за плечом, с противогазом на боку, безмерно уставший – но живой! – я глядел из окна трамвая на площадь Нарвской заставы, на остановку, близ которой когда-то, в другой жизни, я впервые поцеловал девушку.

Вот и Обводный канал со своей темно-зеленой стоячей водой. А за каналом – завалы, полуразрушенный дом, и работают там, разгребают – может, пытаются найти и вытащить тех, кого завалило при бомбежке.

Подъезжали к площади Труда, когда вдруг завыла сирена. Все выше, выше взлетал долгий пронзительный звук. Трамвай остановился. Пожилая кондукторша заорала:

– Воздушная тревога! Выходи из вагона! В укрытие!

Повыскакивали мы на улицу. Вой сирен оборвался, стали слышны удары зениток, все чаще, все ближе. «В укрытие»! А где тут укрытие?

Кто-то из командиров крикнул:

– Р-разойдись! Не толпиться! В подъезды домов!

В Дерябинских казармах – старых краснокирпичных корпусах на краю Васильевского острова, обращенном к заливу, – просторно и неуютно. Еще только сентябрь на дворе, а в казарме уже, скажем так, прохладно.

Воздушные налеты – каждый день. Начальство велит спускаться в бомбоубежище – в подвал, где стоит неизвестно с какого века тяжелый запах сырости, мышиного помета и еще черт знает чего – всеобщего запустения, что ли. Но морпехи побегали дня два, а потом плюнули, перестали спускаться в подвал. Если на роду написано столкнуться с пулей или осколком снаряда, то бомба тебе не очень страшна. Подумаешь, бомба! Так рассуждали морпехи из Первой бригады. И продолжали забивать козла. А кое-где и в картишки резались. Командиры сердились, орали, а потом и сами плюнули на это дело. Переформирование шло, кто и кем тут будет командовать – все неясно.

А бомбы падали недалеко от Дерябинских казарм – в гавани. Старые корпуса сотрясались, содрогались. Были и ночные налеты, с немецких самолетов сыпались на город зажигательные бомбы – как спички из коробка.

Вспыхивали пожары. На крышах размещали ящики с песком, лопаты, ведра, – дежурили на крышах, и если падали с враждебного неба зажигалки, то их, разбрызгивающих огонь, подхватывали на лопаты и кидали в песок.

Небо, затянутое дымом пожаров, исполосованное ищу-

щими лучами прожекторов, еще и потому выглядело враждебным, что к бомбардировщикам летели ракеты. Говорили, что кто-то сигналит немецким самолетам.

– Гады, шпионы, мать их… – ругался Паша Лысенков. – Ракетами на цель наводят.

– Да нет, – сказал Владлен Савкин. – Это не ракеты. Это трассирующие зенитные снаряды.

Вадим Плещеев видел: в один из дней к Савкину приехал отец – плотный рыжеватый полковник (четыре шпалы были на петлицах). Скрипя огромными сапогами, он прошел в комнату комбата. Вскоре оба они вышли, комбат крикнул дежурному, чтоб привел курсанта Савкина, а он, Владлен, уже и торчал тут поблизости. Папа и сын, похожие очень, оба с полуприкрытыми глазами, поздоровались без всяких там улыбок, потопали к выходу и уехали в «эмке» защитного цвета. Вадим видел это из окна. Вернулся Владлен в казарму под вечер – молча повалился на свою койку. Несколько курсантов уселись на соседние койки, и пошел такой разговор:

– Кто твой отец? – спросил Вадим.

– Военный инженер, – ответил Савкин. Он лежал на спине, закинув руки за голову и глядя в потолок.

– Что он говорит об обстановке? – спросил Травников.

– О какой обстановке?

– Ну, под Ленинградом. Не притворяйся, что не понимаешь.

– Никто не притворяется. Обстановка тяжелая. – Савкин

медленно помигал и добавил: – Немцы захватили Шлиссельбург.

– Это что значит? Ленинград окружен?

– Ну, почти. Они вышли к Неве, а финнов остановили на Сестре.

– Как – на сестре?

– На реке Сестре. На старой границе. Значит, осталась узкая полоса. К Ладоге выходит. – Савкин закрыл глаза и закончил разговор: – Ребята, я устал очень.

Ишь ты, устал! – подумал Вадим Плещеев, направляясь в гальюн. Домой съездил, папенькин сынок, нажрался пирожков – и устал. Почему ему пирожки померещились, Вадим и сам не знал. Но, конечно, обидно ему было, что кого-то отпустили домой на побывку, а ему не разрешают. Лишь один раз комбат разрешил ему поздно вечером позвонить по телефону. «Ой, Димка! – крикнула в трубку мама. – Ты живой, какое счастье! Где ты?» И ведь недалеко от дома был он, тут, в казарме на Васильевском острове… «Димка, приезжай! – кричала мама, в ее голосе слышалось отчаяние. – Приезжай, приезжай!»

Только свернул Вадим самокрутку и закурил, как в гальюн вошел Травников. Как раз сегодня его назначили командиром взвода формируемого батальона.

– Дай прикурить, – сказал он.

– Валя, – сказал Вадим, – мне надо дома побывать. Позарез.

– Знаю. Но что я могу поделать? Увольнения запрещены.

Это Вадим и сам знал прекрасно. Но савкинское увольнение стучалось ему в душу.

– Похоже, – сказал Травников, дымя махоркой, – что нас отправят за Ладогу.

– Товарищ командир взвода, – сказал Плещеев, – официально вас извещаю, что уйду в самоволку.

Травников посмотрел на него, покусывая согнутый указательный палец.

– Не советую, Дима. Нарвешься на патруль…

– Тут недалеко. На трамвае. Я быстро обернусь.

– Дима, не надо. Могут быть очень тяжелые…

– Ты завтра заступаешь дежурным командиром? Вот завтра вечером я и пойду.

Днем был долгий воздушный налет. Бомбили центр города, но и на Васильевском, в гавани тоже грохотали взрывы бомб. Одна рванула в соседнем корпусе, где прежде размещался учебный отряд подводного плавания. Выли сирены. Над городом повисло гигантское черно-рыжее облако дыма и гари.

Ближе к вечеру утихло. Только с юго-запада доносился ставший привычным гул канонады. Ленинград зашевелился, тяжело дыша отравленным воздухом, всматриваясь воспаленными глазами в разрушения. Трубили кареты «скорой помощи». Двинулись, звеня, застывшие при бомбежке трам-

ваи. У дымящихся завалов появились со своими лопатами и носилками дружины МПВО – местной противовоздушной обороны.

Вадим Плещеев вышел из казармы и быстрым шагом направился к конечной трамвайной остановке. Он налегке шел, без привычной тяжести оружия. Только в противогазную сумку сунул несъеденную за ужином тефтельку, зажатую меж двух ломтиков черняшки и завернутую в обрывок газеты «Красный Балтийский флот». (Вообще-то не типичная это была еда – тефтели, не полагались они морской пехоте, но кто знает, что полагается морской пехоте, а что нет. Факт тот, что они, тефтели, ни в какое сравнение не шли с бычками в томате.)

Уже подходил Вадим к остановке, как вдруг навстречу – патруль. Черт его принес, не иначе. Напряглись у Вадима мышцы ног – удирать обратно, в казарму, – но тут как раз отошел от кольца трамвай и стал набирать скорость. Вадим припустил за ним и, представьте себе, догнал и запрыгнул на заднюю площадку. Глядя сквозь стекло на удаляющийся патруль, хлопнул себя по сгибу руки: вот вам!

Большой проспект был похож на себя довоенного, но кое-где громоздились развалины. Трамвай на остановках вбирал в себя все больше народу. Вадим стоял на задней площадке, плотно стиснутый (как тот же бычок в консервной банке, подумалось ему). Вокруг говорили о сегодняшней бомбежке… об очередях за пайком… о перерезанных немцами железных

дорогах… о сгоревших Бадаевских складах…

– Тонны мяса и муки сгорели, – говорила худощавая женщина средних лет в шляпке малинового цвета. – Две тысячи тонн сахара расплавились и стекли в подвалы. Представляешь?

– Ужас, – отвечала собеседница, тоже немолодая, округлив водянистые глаза. – Что же это делается? Неужели будет голод?

– Если не будет подвоза… не знаю, – вздохнула малиновая шляпка. Вадим протиснулся к двери и на углу 4-й линии соскочил на ходу.

Помчался вдоль бока Академии художеств. Все тут, каждая выбоина в тротуаре, было ему знакомо с детства. Только вот странно пустынной была улица – будто вымершая. И двор родного дома показался странным оттого, что не гоняли мяч мальчишки, не прыгали, играя в классы, девочки.

Взлетел на третий этаж. Остановился на миг – перевести дыхание, вдохнуть неистребимый запах кошек.

Отворила дверь не мама, хоть он и нажал на кнопку своего звонка. Соседка, маленькая, коротко стриженная, в махровом синем халате, уставилась на него – и, выкрикнув: «Ой, Вадим!», – кинулась обнимать.

– Здрасьте, Елизавета Юрьевна, – сказал Вадим. – А мама дома?

– Дома, дома! Только… – Соседка запнулась.

– Что – только?

Вадим побежал по коридору, как и прежде освещенному вечно тусклой лампочкой. Ворвался в комнату.

Диван, на котором лежала Вера Ивановна, был переставлен от окна к стенке рядом с дверью в кабинет. Вера Ивановна повернула голову, лицо у нее было мокрое от слез. Увидев сына, она поднялась и с плачем припала к нему.

– Мама… мамуля… Что ж ты плачешь? – Вадим гладил ее по седеющей голове, по худенькой, вздрагивающей спине. – Ну что же ты… успокойся…

– Ей позвонили полчаса назад, – тихо сказала Елизавета. – Мальвину убили при бомбежке.

Вера Ивановна сквозь слезы смотрела на Вадима.

– Ох! – вздохнула прерывисто. – Димка! Наконец-то…

Вытерла платком лицо, улыбнулась, поправила смятую домашнюю кофту.

– Ты усы отпустил… Навоевался мальчик… Димка, сними бушлат, сядь… Ты голодный?

– Нет, мама, я ужинал. Вот, я принес… – Вадим вытащил из противогазной сумки пакетик с тефтелькой. – Ты поешь, мам. У вас ведь, говорят, нормы урезаны.

– На прошлой неделе срезали, – сказала Елизавета. – Пятьсот грамм хлеба для рабочих, триста грамм для нас. Для служащих. На мясо, на жиры тоже… А очереди какие…

– Нет, нет, Димка, – сказала Вера Ивановна, – ты сам ее съешь. Ты такой худой… У тебя глаза совсем другие стали. Насмотрелся… навоевался… – Опять ее голубые глаза-озе-

ра наполнились слезами. – Мальчик мой… Лиза, вскипяти чайник, пожалуйста. И макароны из шкафчика достань, разогрей… А конфеты тут у меня… – Она зашарила в буфете. – Вот они. Не очень сладкие. Но ничего…

– Верочка, не суетись, – сказала Елизавета. – Сядь и сиди. Я все сделаю.

Она вышла из комнаты.

– Кто тебе позвонил? – спросил Вадим. – Про Мальвину?

– Свербилов. Сотрудник наш.

– А, это пожилой, который в Стрельне живет?

– Да. Он давно овдовел, жил бобылем, а в июне они с Мальвиной решили пожениться. Свербилов к ней переехал. Хотели расписаться, а тут война началась… – Вера Ивановна горестно вздохнула. – Не знаю, зачем они сегодня в центр поехали, в Гостиный двор… может, что-то купить по хозяйству… Попали под бомбежку. Жуткая была сегодня бомбежка…

– Да. В гавани, возле нас, тоже…

– Он, Сергей Сергеич… Свербилов… позвонил недавно. У него на глазах Мальвину убило… Тревогу объявили, когда в Гостином дворе полно было народу. Побежали искать бомбоубежище… паника… бомба ударила прямо в универмаг. Свербилова взрывной волной отбросило… я не поняла… с галереи, что ли, сбросило… Пришел в себя, пошел искать Мальвину, а там дым, пожар, много трупов… Представляешь, он в этом аду нашел Мальвину… по красному жакету

нашел… Она лежала с размозженной головой… под обломком стены…

Вера Ивановна с плачем опустилась на диван, голову обхватив руками.

Из коридора донеслись нарастающе громкие голоса – визгливый чей-то и почти по-мужски низкий голос Елизаветы.

– А вот я в милицию заявлю про твое воровство! – гремела Елизавета.

– Сама ты воровка! – визжал женский голос. – Из больницы спирт тащишь!

– Не ври, психопатка!

Распахнулась дверь, Елизавета вошла, рассерженная, с красными пятнами на щеках. Поставила на стол дымящуюся кастрюльку и небольшой графин темного стекла.

– Вера, не оставляй на кухне продукты, – сказала она. – Я уж тебя предупреждала. Эта стерва ворует. Переполовинила твои макароны.

– Что за стерва? – спросил Вадим.

– Ника.

Вадим удивился: Ника, дочка Покатиловых, в его представлении была маленькой девочкой, крикливой плаксой, прыгающей через веревочку-скакалку. Хотя – ну да, она подросла, ей уже лет шестнадцать…

– …бросила учебу в техникуме, – говорила меж тем Елизавета, выкладывая на тарелки макароны, – пошла дом-

работницей к старому пердуну, бывшему начальнику всех кладбищ, замуж за него вышла… Верочка, Вадим, садитесь за стол. Вадим, я тебе налью разведенного спирта. Не возражаешь?

– Чего я буду возражать? Нам положено полста граммов.

– Нам в хирургии тоже выдают немножко. Тебе, Верочка, не наливаю, ты же непьющая.

– Налей, – сказала Вера Ивановна. – Выпьем за упокой души Мальвины. Это была такая прекрасная душа. Чистая, благородная. – Она закашлялась, хлебнув из рюмки. – Ой, Лиза, совсем забыла, у меня же банка крабов, ну, «чатка», в кабинете, между рамами, принеси, пожалуйста.

Елизавета принесла банку с бело-красной наклейкой, и Вадим вскрыл ее консервным ножом.

– В коммерческих магазинах, – сказала Елизавета, – только «чат-ка» и осталась. Хотя магазины эти, кажется, уже закрывают. Что же будет? – спросила она, выпив залпом из рюмки. – Неужели голод? В Бадаевских складах, говорят, чуть не годовой запас продуктов сгорел. А подвоза нет, железные дороги перерезаны.

Бадаевские склады… Вадим уже не в первый раз это слышит. И каждый раз вспоминает, как восьмого сентября – они в тот день под Красным Селом дрались – видели прошедшую над их головами эскадру «юнкерсов» и вскоре услышали долгий, долгий гул бомбардировки… ужасное зарево увидели…

Он погладил руку Веры Ивановны – маленькую руку с ссадинами и набухшими венами, лежащую на столе возле тарелкой с макаронами.

– Да не будет голода, – сказал он. – Все сгорело на складах? Ну не может этого быть.

– Ах, Димка! Хочешь меня утешить… Все может быть! Уже было в моей молодости, и вот опять… Как же это получилось, что Питер опять осадили? Кричали по радио, что наша армия самая сильная. И вдруг немцы чуть не на улицах! Город обклеили плакатами «Враг у ворот!». Баррикады строим, противотанковые рвы копаем! Вот! – Вера Ивановна вскинула руки ладонями кверху. – Мозоли от лопаты! Не будет голода? Ох, боюсь, что будет… – Она стиснула щеки, устремив взгляд на потолок, на старую лепнину в углу. Выкрикнула: – Что за жизнь у меня – из одних потрясений! Короткие передышки – и опять, опять… Почему так безжалостно… Господи, разве я виновата в чем-то?..

– Мама, успокойся! Ты ни в чем…

– Димка! Когда твоя открытка пришла из Ораниенбаума, я зацеловала ее… Хотела в церковь бежать, свечку поставить… Но я же не знаю… мы же атеисты, без бога живем…

Прощание было трудным.

– Димка, береги себя! Береги себя, – твердила, требовала Вера Ивановна, припав к груди Вадима. – Не лезь под пули… Я знаю, радио говорило, морская пехота героически сражается… Не геройствуй, Димка! – Она плакала и повторяла,

повторяла: – Береги себя…

– Да, да, не тревожься, – говорил Вадим, гладя ее по голове. – Я постараюсь… Ты тоже, мама… При бомбежке – сразу в бомбоубежище… Есть у вас в доме?

– В подвал бегаем, – сказала Елизавета. – Я присмотрю за мамой, ты не беспокойся.

Она вышла в коридор проводить Вадима.

– Ты знаешь, – сказала негромко, – она хорошо держалась. Никаких истерик. А сегодня, как позвонили ей о Мальвине, так будто… будто плотину прорвало…

Тут из кухни вышла, неся чайник, кудрявая девица с круглым лицом и сама кругленькая, рано, как говорится, развившаяся.

– Ой, Вадим! – пропищала она, улыбаясь. – Ой, моряк, красивый сам собою!

– Ника, – остановился перед девицей Вадим. – Ты запомни: будешь у матери продукты воровать, – я тебя выпорю. Или просто пристрелю. Поняла?

– Ой, напугал! – Ника щелкнула языком. – Ой, я вся дрожу!

Обогнула Вадима и пошла по коридору, раскачивая не по возрасту широкими бедрами.

– Вы говорили, Елизавета Юрьевна, она замужем за кладбищенским начальником? – спросил Вадим.

– Умер начальник. А его сын, или кто там, может, дочка, – прогнали они Нику. У нее теперь кто-то другой. Приходит в

военной форме, но без петлиц, без нашивок. Рожа красная. Хрен его знает, кто такой.

– А родители ее? Живы?

– Покатилов в армии, в каких-то ремонтных мастерских. Клавдия где-то работает по хозяйственной части. Вадим, ты маме пиши. Хоть несколько слов в открытках. Ей это очень, очень нужно. Счастливо, Вадим. Дай-ка я тебя поцелую.

На лестничной площадке Вадим закурил (пачка папирос «Ракета» у него имелась в загашнике) и постоял несколько минут. Каменной тяжестью легла на душу встреча с мамой. Нехорошая мысль всплыла: не последняя ли встреча у нас? Быстрыми нервными затяжками Вадим отогнал эту мысль. Затоптал ее, как окурок папиросы. И сбежал на второй этаж.

Там у двери квартиры Виленских стояла странная фигура – невысокая, в ватнике и черных брюках с подвернутыми манжетами, в черной кепке козырьком назад – и звякала ключом, пытаясь вставить его в замок.

– Эй, ты что тут делаешь? – крикнул Вадим.

Фигура оглянулась – вот так так! Это же Райка! Лицо осунувшееся, с черным пятном на щеке, но это она – у кого еще такой испытующий взгляд темно-серых глаз?

– Райка, привет! – Вадим обнял ее, ощутив горький запах дыма от ватника.

– Дима! – Она, улыбаясь, всмотрелась в него. – Гроза морей! Откуда ты… Димка, помоги дверь отворить. У меня ру-

ки дрожат.

Они вошли в квартиру. Райка скинула ватник и башмаки и повалилась на диван.

– Извини, – сказала. – Что-то ноги не держат.

– У тебя сажа на щеке.

– Знаю. – Она дотронулась рукой до черного пятна. – Весь день налеты, бомбежки. Весь день мы без передышки…

– Так ты в МПВО?

– Ну да. Как начались бомбежки, нашу дружину стали посылать к разбомбленным домам. Копаемся в завалах. Иногда удается спасти… Сегодня возле Тучкова моста работали, лопатами обломки разгребали – и вытащили двоих. Маму и ребенка, девочку. У нее кукла была в руках, представляешь? Сама мертвая, а в руках зажат заяц тряпичный… Мама со сломанной ногой, но живая… Прижала к себе дочку, смотрит сумасшедшими глазами… Ой, Димка, что же это делается…

У Райки голос дрогнул. Она зажмурилась, пытаясь удержать слезы. Вадим подсел к ней на диван, снял кепку с ее головы, погладил по густой копне каштаново-кудрявых волос.

– Дим, – сказала она тихо, – ты в морской пехоте воюешь, я знаю от мамы твоей… Как ты там? Страшно?

– Страшно, да… А что Оська?

– От Оськи давно нет вестей. Последний раз была открытка, мы не поняли, откуда, штемпель как клякса. Несколько строчек. «Жив, здоров, не волнуйтесь. Гитлера в Питер не

пустим. Воюем изо всех сил». А последняя фраза – «A la guerre comme á la guerre».

– Это – «На войне как на войне»? Оська правильно написал. Он во Второй дивизии ополчения, да? Под Котлами эта дивизия была соседом нашей бригады. Нам здорово там досталось. Ополченцам тоже.

– Аня звонила две недели назад… Это девушка Оси…

– Знаю. Пианистка в консерватории.

– Да. Кто-то из них, консерваторских, тоже был в ополчении, его, раненого, привезли в Ленинград, и он Аньке позвонил из госпиталя. Сказал, что видел Оську в конце августа. Они отступали по направлению к Петергофу. Так он сказал Ане.

– Понятно. Немцы прорвались в Петергоф неделю назад. Но, похоже, у Лигово они остановлены. Наша бригада почти вся там легла. А Оська, может, по ту сторону оказался.

– Как это – по ту сторону?

– Ну, к западу от Петергофа. На ораниенбаумском пятачке.

– Что это значит? Они отрезаны от Ленинграда?

– По суше – да. А по заливу связь, конечно, есть. Через Кронштадт.

– Пойду умоюсь. – Райка поднялась с дивана. – Ты посиди, я быстро. Между прочим, знаешь, кто в Кронштадте? Маша Редкозубова. Мы копали под Лугой противотанковый ров, вернулись в Питер, – и тут Маша отпросилась и уехала в свой

Кронштадт.

– Ну что ж, – сказал Вадим и посмотрел на часы.

Шел девятый час, за окном давно стемнело. Надо бежать домой… тьфу, не домой, а в казарму… Скоро начнется ночной налет…

«Какое мне дело до того, что Маша в Кронштадте?»

Райка вошла с умытым лицом и переодевшаяся, в длинной черной юбке и голубой кофточке, перетянутой в талии серебристым поясом.

– Совсем другое дело, – одобрительно заметил Вадим. – Хотя брюки тебе тоже к лицу.

– Ты находишь? Это Оськины штаны. А вот тебе усы совершенно не идут. Ты в них похож на опричника.

– На опричника? – удивился Вадим. – Надо же… Я-то думал, что похож на князя Серебряного.

– Скорее на его стремянного – Михеича.

– Ладно. На Михеича так на Михеича.

«Это Вальки Травникова касается, что она в Кронштадте. А мне-то что?»

– Пойду, Райка. А то скоро комендантский час. Как мама твоя поживает?

– Мама теперь военврач, в госпитале работает. Занимается послеоперационным лечением раненых. А вот и она! – воскликнула Райка, услышав шаги в коридоре.

Шаги были твердые, тяжелые. Розалия Абрамовна вошла в военной форме, гимнастерка и юбка хаки скрадывали ее

былую полноту. В петлицах была одна шпала – значит, в чине капитана, или, вернее, военврача третьего ранга.

– Здравствуйте, – кивнула она в ответ на приветствие Вадима, но в следующий миг, узнав, тихо сказала: – Вадим, милый, как я рада.

Обняла Вадима, поцеловала в обе щеки. И – еще тише:

– Бедные вы мои мальчики. Какая вам выпала юность…

Глава шестая
Гора Колокольня

Когда 13 июля части 2-й дивизии народного ополчения грузились на Варшавском вокзале в вагоны-теплушки, настроение у бойцов было бодрое. Воинственное было настроение. Хоть и не успели они как следует обучиться военной премудрости. Многие впервые взяли в руки винтовку. Да и, между прочим, не всем они, винтовки, достались. Боец Сергей Якубов, бывший студент военно-механического института, заявил, что в дивизии на шестерых бойцов приходится пять винтовок.

– Откуда ты знаешь? – спросил боец Иосиф Виленский.

– Я люблю точность, – сказал Якубов. – И я умею считать.

– Трепаться ты умеешь.

– Ну это как раз по твоей части. Интеллихенция, – сделал Якубов особое ударение на слоге «хен». – Тебе вообще не винтовка нужна, а скрипка.

– А тебе, как потомку сельджуков, полагается не винтовка, а ятаган.

Якубов был потомком не столько турок-сельджуков, сколько крымских татар, но в Крыму ни разу не бывал: военная служба мотала его отца по всей стране, Сергей и родился-то в поезде, идущем из Владивостока в Свердловск. В ян-

варе сорокового года отец, достигший чина подполковника, погиб при штурме линии Маннергейма. В том же году Сергей Якубов, выдержав конкурсный экзамен, поступил в Ленинградский военно-механический. Он был, что называется, математической головой. И, между прочим, голова была, при его высоком росте и худосочном телосложении, непропорционально большая. Когда ополченцев обмундировывали, Якубову не могли подобрать пилотку – все были малы. Еле разыскали на вещевом складе округа большую фуражку б/у (то есть бывшую в употреблении), да и та сидела на якубовской голове криво.

В третьем стрелковом полку, кроме Виленского и Якубова, были и еще студенты – главным образом из военно-механического и инженерно-строительного институтов. Несколько студентов, так сказать, представляли высшее музыкальное образование, то есть консерваторию. С одним из них, Заиграевым с фортепианного факультета, Иосиф Виленский дружил. Ну как же: он, Леонид Заиграев, учился в одной группе с Аней Кравец, в которую Иосиф был сильно влюблен и на которой намеревался жениться – само собой, после войны. Вот этому Заиграеву, как и многим другим ополченцам, не досталось винтовки. Выдали ему две ручные гранаты и сказали, что винтовка будет после первого же боя.

Это сказал ему взводный – Захаркин. Вообще-то он, Захаркин, военного образования не имел, а был отслужившим срочную и сверхсрочную службу старшим сержантом, уце-

левшим на зимней финской войне. После ее окончания он ударился в запой и был уволен из армии, но сумел опомниться и поступил на завод «Красный треугольник» по бывшей своей специальности – слесарем. Но так повернулась жизнь, что опять призвали старшего сержанта запаса Захаркина на войну и, за недостатком среднего комсостава, произвели в младшие лейтенанты, дали взвод в формируемой дивизии народного ополчения. Был Захаркин малорослый и рябоватый, с громким – даже громоподобным – голосом и мрачным характером. (Мрачность, быть может, имела причиной большое усилие, потребовавшееся для отказа от пьяной жизни.) «Пр-р-ра-вое плечо вперед!» – орал Захаркин во дворе общежития военно-механического института на занятиях по строевой подготовке. «Коли! – орал он, обучая взвод штыковому бою. – Р-раз, два!» Его голос был слышен далеко за пределами двора.

Настроение в теплушках, когда поехали на фронт, было боевое. Слух прошел, что на Луге-реке немцы остановлены, что они отброшены от Шимска. А где он, Шимск?..

Пели песни. Вася Кузовков, красивый вихрастый малый с пивоваренного завода, запевал одну за другой – «Катюшу», конечно, и «Трех танкистов», и, с особым чувством, «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч».

Около полудня эшелон остановился на станции Веймарн. Ополченцы повыпрыгивали из теплушек, строились, побатальонно выходили на дорогу, ведущую, как было приказано,

к селу Ивановское. А дорога-то забита!

Шли навстречу беженцы – главным образом женщины с детьми. Тарахтели телеги, ржали лошади, кто-то гнал блеющих коз.

– Ося, слышишь? – Заиграев, шедший рядом, повернул к Иосифу Виленскому узкое лицо с глазами, какие называют «нездешними» – словно увидевшими не один только окружающий мир. – Ты слышишь?

– Мычание коз? Слышу, конечно.

Иосиф был озабочен своими ногами: плохо намотанные портянки причиняли неприятность ступням.

– Да какие козы? – сказал Заиграев. – Прислушайся! Или у тебя не абсолютный слух?

Иосиф вытянул шею из воротника гимнастерки и, вслушавшись в звуки текущей жизни, уловил как бы слабый ее фон. Где-то далеко рокотали моторы.

– Товарищ комвзвода! – окликнул он Захаркина, шедшего обочь колонны. – Нам навстречу идут машины. Может быть, танки.

– Р-разговорчики в строю! – рявкнул тот. – Командование знает, чего там навстречу. Шире шаг!

А Сергей Якубов, шагавший впереди, обернулся и сказал:

– Интеллихенция!

Но рокот моторов нарастал, нарастал. Заметно поредел поток беженцев. А может, не поредел, а стал съезжать с дороги вправо – в посадки, в картофельные грядки, и влево –

в дикое поле, за которым синел лес.

Все ближе грохотали моторы, и полетело над колонной ополченцев тревожное слово «танки!»

И они возникли – из дыма, из пыли – быстро несущиеся, грозно рычащие, желто-зеленые, с крестами на боках, – их пушки-хоботы шевелились, словно осматриваясь и выискивая, – и оглушительно изрыгали огонь. Снаряды рвались на дороге и по бокам от нее, среди массы ополченцев, сыпанувших в разные стороны… среди беженцев с их скарбом… Кричали раненые, ржали лошади, взлетали в столбах земли и дыма обломки телег и деревьев…

Боец Заиграев вдруг поднялся из картофельных кустов и, выдернув кольцо, швырнул гранату в один из танков. Граната в танк попала, но ее разрыв не причинил ему вреда.

Танки – сколько их было? полтора десятка? два? – проносились по дороге – неукротимые хищные звери войны. Кто способен их остановить? Народное ополчение с их винтовками, имевшимися, к тому же, не у каждого бойца?

Свистки и выкрики командиров заставляли ополченцев окапываться – за танками могла появиться немецкая пехота… ее нужно остановить…

Так она вступила в войну – Вторая дивизия народного ополчения. Нарвались на танковый прорыв, побежали, пытаясь укрыться от огня среди кустов и деревьев, – но не всем удалось спастись. Дым рассеялся, открыв страшную карти-

ну: тут и там лежали мертвые тела ополченцев и беженцев.

Иосифа Виленского засыпало землей от близкого взрыва, но повезло: осколки не задели. Он поднялся, отряхиваясь и с ужасом оглядываясь.

– Эй ты! – крикнул ему, проходя мимо, Захаркин. – Остолбенел, что ли? Была команда окапываться!

Остановившимся взглядом Иосиф смотрел на Якубова. Он, Сергей Якубов, полчаса назад еще живой, лежал, вытянувшись в длинный свой рост, под сосной с переломленной повисшей кроной. Лежал ничком, в залитой кровью гимнастерке, вывернув большую черноволосую голову щекой к траве, с раскрытым ртом.

Захаркин выдернул из его мертвой руки винтовку и крикнул:

– Заигр-раев, возьми! Подсумки с патронами с него сними! Окапываться, так вашу мать!

Только окопались, как поступил приказ атаковать немецкую часть, прорвавшуюся на восточный берег Луги, выбить ее из села Среднего. Примкнули, как учили, штыки, побежали по бугристому полю. Захаркин вел взвод к двум темным сараям на краю поля, среди деревьев, и было видно, как там замигало пламя, – заработал пулемет. Еще успел увидеть Иосиф Виленский на бегу, как над сараями взлетела стая птиц и полетела прочь, прочь от гиблого места…

Больше он ничего вспомнить не мог. Бежали, орали, падали, ползли сквозь кустарник – только это и помнил. Выбить

немцев не удалось, стемнело, отошли к своим окопам.

Так окончился первый день на фронте для третьего стрелкового полка. Потери были большие.

Сережку Якубова жалко… умницу, насмешника…

– Он мечтал знаешь, где побывать? – сказал Иосиф Заиграеву. – В Крыму. Из бахчисарайского фонтана хотел воды напиться.

– Да и нам не мешало бы попить, – пробормотал Заиграев. – Обещали, что полевая кухня будет. А где она?

Он лежал на дне траншеи, сунув под голову противогазную сумку и закрыв нездешние глаза.

Иосиф сидел рядом, стянув с тонких своих ног сапоги, и, размотав портянки, растирал натруженные ступни. Ему, конечно, показали, как надо наматывать, и он так и делал, но почему-то получалось плохо, портянки собирались в складки и натирали ноги.

Дивизия, растянувшаяся от Поречья до Ивановского, пыталась отбить эти поселки, но не смогла, понесла большие потери. Только третьему стрелковому полку удалось выбить немцев из деревни Малые Пелеши на восточном берегу Луги, – и долго после этого немецкая артиллерия долбила деревню, сожгла все избы, обломками и вывороченной землей накрыла огороды. Каким-то образом уцелел только возле сгоревшего сельсовета шест с призывным плакатом: «Выше бдительность!»

В тот день прибыл артдивизион, приданный дивизии, – не разобравшись в обстановке, он стал вдруг лупить по северной околице Пелешей, когда уже утих немецкий огонь. Как раз взводу Захаркина достался этот дурацкий огонь. Укрылись от него кто как мог – в воронках, в подвалах, и тут Захаркин, взъерошенный, потерявший пилотку, крикнул Иосифу:

– Виленский! Колодец видишь вон там, с журавлем? Там комбат. Давай к нему, доложи, что по нам свои бьют.

Вообще-то у Захаркина связным был Кузовков, но его поранило в начале боя. Он, в разорванной гимнастерке, с обвязанным плечом, сидел у поворота траншеи и хрипло дышал, матерясь сквозь зубы.

Иосиф измерил взглядом расстояние до колодца – метров двести. Двести метров открытого пространства под огнем…

– Товарищ комвзвода, – сказал он тихо, – вы понимаете, какой приказ отдаете?

– Выполнять! – заорал Захаркин. – Живо! Перебежками – к колодцу!

– Такой приказ выполнить не могу.

– Невыполнение приказа! – Рябоватое лицо Захаркина побагровело. – Знаешь, что́ за это?!

Он выхватил из кобуры наган. Страшно побледневший Иосиф стоял перед ним недвижим: вот и все… Сейчас хлопнет выстрел…

– Что тут происходит?

Из-за поворота траншеи вышел военком батальона Бородин.

– Что происходит? – повторил он, остро глядя, прищурясь, сквозь очки.

– Товарищ старший политрук, – Захаркин повысил голос, чтобы перекричать близкий разрыв снаряда. – Боец Виленский отказался выполнить приказ!

– Командир взвода послал меня на́ смерть, – угрюмо сказал Иосиф, не в силах отвести взгляд от все еще нацеленного револьвера.

Военком Бородин быстро разобрался в ситуации.

– Уберите наган, Захаркин, – велел он. – Я отменяю ваш приказ. А вы, боец Виленский, если еще раз – хоть один раз – не выполните, то пойдете под трибунал. Ясно?

– Ясно, товарищ комиссар! – прокричал Иосиф.

Он, можно сказать, влюбился в этого пожилого (Бородину было под сорок), сухощавого политработника – ну, не то чтобы влюбился, а поверил ему.

Вечером того же длинного, огнем испытанного дня, когда третий стрелковый полк, похоронив в братской могиле убитых и выставив боевое охранение, улегся на ночной отдых, боец Заиграев сказал бойцу Виленскому:

– Ося, ты спишь? Нет? Ты сегодня второй раз родился.

– Знаю, – ответил Иосиф.

– Не иначе как бог тебя спас.

Они лежали головами друг к другу на дне траншеи,

устланном, за неимением иных подстилок, ветками тополей. Над ними сквозь медленное таяние дымов войны устало мерцали далекие звезды.

Иосифу не спалось. Хоть и лето, а ночью в поле, в окопе – не тепло. – Про…ывает, однако, без шинели, – проворчал он.

И сам удивился легкости, с какой срываются теперь с языка такие вот слова. В прежней жизни у него к ним привычки не было.

А вот и привычные мысли приплыли – о «Чаконе», работу над которой оборвала война.

– Ты спишь, Леня? – спросил он.

– Нет, – ответил Заиграев. – Что-то не спится.

– Как ты относишься к «Чаконе» Баха?

– К «Чаконе»? – Заиграев хмыкнул. – Очень своевременный вопрос… Хорошо отношусь, конечно. А что?

– В чем ее особенность, как ты думаешь?

– Ну, в ее основе старинный испанский танец.

– Да это я знаю. Был ли Бах счастлив, когда сочинял «Чакону»?

– Ну и вопросик! – После паузы Заиграев сказал: – Ося, я немножко знаю его прелюдии и фуги. А партиты для скрипки – знаю плохо. Не помню, когда он сочинил «Чакону». Если после женитьбы на певице этой… как ее…

– Анна Магдалена.

– Да. Он был счастлив во втором браке. Да и вообще счастливчик. Народил много детей.

– Счастливчик… Почему же в «Чаконе» столько драматизма? Столько басовых нот.

– А как может быть без драматизма, если слышишь… если ведешь тему судьбы?

– А-а, судьба! Вот это я и хотел… хотел понять…

Три недели держалась 2-я дивизия на лужском рубеже, а восьмого августа началось немецкое наступление. Танки прорвали оборону, за ними устремилась пехота. Доходило до рукопашных схваток на брустверах, в окопах. Редеющие батальоны ополченцев отходили, цеплялись за высоты, за складки земной поверхности, оставляя на ней шрамы окопов.

На одном из привалов, поздним вечером, при свете луны, боец Юркин, бывший рабочий завода «Красный треугольник», присмотрелся, как боец Виленский разматывает портянки с ног, натертых до волдырей.

– Слышь, корешок, – сказал Юркин бабьим тонким голосом, – выброс на хер свои портянки. На них же складки задубели.

– У меня других нет, – сказал Иосиф.

– Да я дам тебе новые. – Юркин порылся в своем вещмешке и вытащил пару белых чистых портянок. – На, возьми.

– А ты как же? – застеснялся Иосиф.

– Да я себе со склада другие выпишу. – Юркин залился смехом, похожим на школьный звонок.

Он был смешливый. О таких «смехунах» говорят: покажи ему палец – с хохоту помрет. Хотя в жизни Юркина маловато было поводов для смеха. Он Иосифу однажды, в час затишья, рассказал:

– Батя у меня был военный. Ну, чин небольшой, вроде нашего Захаркина. А мама была цыганка. Она здорово пела под гитару, понял? А красивая какая! Я в нее пошел! – Юркин похохотал, а потом: – Батю в тридцать восьмом арестовали. Что-то не так сказал. Точно не знаю, врать не буду. Ты что, спишь?

– Нет, нет, – сказал Иосиф. – Слушаю. Просто глаза закрыл.

– Ну вот. Что-то батя сказал, а кто-то услышал и донес куда надо. То-ись куда не надо! – Опять Юркин посмеялся, правда невесело. – Ну вот. Мама ходила по начальству. Писала даже товарищу Сталину, что батя ни в чем не виноватый. Просила, чтоб отпустили его. Она батю любила. Понял?

– Как не понять…

– Ну вот. Во все двери стучалась. А потом заболела. У ней кровь горлом пошла. Умерла она.

Юркин умолк, принялся сворачивать махорочную самокрутку.

– Так ты один остался? – спросил Иосиф.

– Почему один? Мы с сестрой у бабушки жили. Я со школы ушел, с восьмого класса, на завод поступил. Ну вот. А потом стал чемпионом города.

– Каким чемпионом? – удивился Иосиф.

– Ну, бегал я. По длинным дистанциям первое место взял. В юношеском разряде.

– Молодец, Юркин.

– Меня Костей зовут. Константин. А ты, говорят, на скрипке играл?

– Да.

– А я на гитаре умею. Вот бы нам дуэ́том сыграть, а?

Юркин разразился заливистым смехом. У него, когда смеялся, глаза превращались в щелки, маленький нос будто утапливался, и один только оставался на лице широко отверстый рот с крупными зубами.

Под Котлами ополченцы 2-й дивизии оборонялись стойко. С помощью артиллерии, да и бутылками с горючей смесью отбили две танковые атаки. А сколько накатывалось атак мотопехоты – уж и не считали.

Потери были большие. Как назло, август стоял безоблачный, ни одной тучки, – и немецкая авиация, конечно, вовсю пользовалась летной погодой.

В то утро «юнкерсы» опять, в который уже раз, бомбили передний край. Досталось и зенитным батареям, немцы налетали на их позиции настойчиво, но и зенитчики из уцелевших пушек вели отчаянный огонь, подбили двух пикировщиков, а третий был не подбит, а напрочь сбит. Со страшным воем, волоча черный шлейф, он врезался в ничейную

землю. А когда рассеялся дымный факел, стали видны два белых парашюта. Их сносило ветром за передний край ополченцев, к пологому холму, у подножья которого, среди купы деревьев, расположилась медсанчасть третьего стрелкового полка.

Как раз Надя Ефремова, сандружинница, вела туда раненого Леонида Заиграева.

Странным он был бойцом, Заиграев: он словно испытывал себя в боях. То поднимется в полный рост при обстреле, когда, напротив, пригнуться надобно, чтоб голову сберечь. То высунется из траншеи и стрельнет из винтовки в пикирующий бомбардировщик. Ему вообще-то везло. Но такому везению всегда настает конец. Сегодня горячий осколок достал Заиграева – раздробил ему бедро. Надя Ефремова, бывшая студентка инженерно-строительного института, и потащила Заиграева в полковую медчасть.

Маленькая, но крепко сложенная, она закинула руку Заиграева себе за шею и, обхватив его, худенького, за талию, повела, а он прыгал на здоровой ноге, стиснув челюсти, чтоб не заорать от боли.

Дальше событие пошло с нарастающим ускорением. Одного немца-летчика парашют посадил на дерево – он повис, суча ногами и выпутываясь из стропов. А второй приземлился аккурат на пути сандружинницы и Заиграева. Парашют поволокло ветром прямо на них, летчик в черном шлеме высвободился из стропов, огляделся – и, выхватив из кармана

пистолет, выстрелил. Заиграев и Надя упали на землю, Заиграев сорвал с плеча винтовку…

Увидев это и услышав выстрелы, Иосиф Виленский выбрался из траншеи и побежал туда, крича во всю глотку:

– Эй, фриц! Nicht schieβen[4]!

Его обогнал Юркин. Вот же бегун! Быстрее ветра он помчался к месту перестрелки, где распластался белый купол парашюта. А летчик кинулся к деревьям. Там к нему присоединился второй, слезший с дерева, они побежали к кустарнику, за которым приютилась темно-зеленая палатка медсанчасти. Из палатки вышел врач в белом халате внакидку, а за ним выскочил боец, может, санитар, с винтовкой наперевес. Летчик на бегу выстрелил из пистолета, врач, схватившись за грудь, упал. Санитар, остановившись, выпалил из винтовки. Оба летчика побежали в другую сторону, петляя меж сосновых стволов. Но тут уже Юркин, а вслед за ним и Иосиф загородили им дорогу огнем из своих винтовок. Летчики, с разбегу упав в кусты, поползли куда-то вбок, Юркин и Иосиф стреляли по колыханиям кустарника и продвигались поближе.

Летчики отстреливались из пистолетов, пока не кончились патроны. Некуда им было деваться. Они поднялись – один высокий, худощавый, второй пониже ростом и, видимо, раненый, в окровавленном комбинезоне.

---

[4] Не стрелять! (*нем.*)

– Hände hoch![5] – заорал Иосиф, медленно надвигаясь на них.

Немцы подняли руки. Тот, что пониже, одну руку поднял, вторая висела неподвижно. Лица у обоих были перекошены не то болью, не то ненавистью. Высокий бормотал-хрипел:

– Verdammt!.. Verflucht…[6]

– Selbst bist du verflucht! – яростно крикнул Иосиф, тыча в него дулом винтовки. – Mit deinem Hitler![7]

Он и Юркин повели пленных летчиков на командный пункт полка.

Ночь была не темная. Не от лунного света была она нетемной, нет, луна плыла высоко и света давала очень уж мало сквозь дымные полотна войны. Горели Котлы за позициями ополченцев. Мрачный красный отсвет пожаров скользил по лицам бойцов, уцелевших в дневных боях.

По ходам сообщений, по траншеям неторопливо шел Бородин, военком батальона. Глядел сквозь очки на бойцов, будил тех, кто сумел заснуть на краю своей военной жизни:

– Просыпайтесь… Поднимайтесь, мальчики… Отходим. Отход на новые позиции. Подъем!

Иосиф Виленский не спал. Лежал с открытыми глазами, думал о своем. Маму вспоминал и сестру – как они там? Ведь

---

[5] Руки вверх! (*нем.*)

[6] Проклятый!.. Окаянный… (*нем.*)

[7] Сам ты проклят! Со своим Гитлером! (*нем.*)

Питер бомбят… А ты, Анечка?.. Анка, милая, как хочется целовать тебя…

Тут остановился над ним Бородин.

– Ты Виленский?

– Я, товарищ старший политрук.

– Надя! – окликнул Бородин сандружинницу, шедшую за ним и задержавшуюся возле бойца Кузовкова. – Ты Виленского искала, так вот он.

Надя Ефремова с санитарной сумкой через плечо, подошла, деловито сказала, глядя снизу вверх на поднявшегося Иосифа:

– Тебя Иосиф зовут? Такое имя! Заиграев тебе передает, чтоб ты его маме позвонил. Ну, если в Питер попадешь, ясно? Телефон его помнишь?

– Да. – Иосиф прокашлялся, у него голос сел от простуды. – Что сказать, если позвоню?

– Скажешь, что он раненый, но живой. А что ногу хотят отнять, не говори. Ясно? – Надя шагнула было уходить.

– Обожди! Как это – ногу отнять? Почему?

– Почему! Сам не понимаешь? Чтоб гангрену не допустить.

– Гангрену, – пробормотал Иосиф. – Разве у него такое…

– Да, такое ранение. – Надя всмотрелась в Иосифа. – Ты хрипишь чего-то. Ты болен?

– Нет.

– Парашютист когда нас обстрелял, Заиграев упал на зем-

лю – ну, с открытой раной. Загрязнение получилось. Заражение крови. А он кричит – не хочет ампутации.

– Так, может, обойдется?

– Слушай, ты хрипишь, как лошадь. – Надя раскрыла сумку, поискала в ней. – Вот тебе аспирин. Проглоти со слюной. Вы здорово парашютистов в плен забрали. С этим, как его…

– С Юркиным.

– Ага. Они, сволочи, нашего начальника убили. Прямо в сердце стрельнули. Такой был классный врач! Ну, пока, Иосиф.

– Надя, а можно я в санчасть приду? Заиграева проведать.

– Ты что, не слышал? Отход на новую позицию. Говорят, к Петергофу отступаем. За ранеными машина придет из дивизии. Ну, все.

Иосиф Виленский не попал в Ленинград. 2-я дивизия народного ополчения – три ее полка, потерявшие больше половины своего состава – отступала по направлению к Петергофу. На песчаном берегу тишайшей речки Ижоры 3-й стрелковый полк несколько дней держал оборону близ деревни Романовка. Дрались отчаянно. По ночам отходили на новые позиции – хмурые, безмерно утомленные, нередко голодные. Снабжение не успевали им подвозить, да и, бывало, тыловики просто не знали, где находятся части дивизии.

Были на исходе боеприпасы.

Уже сентябрь наступил. В полусотне километров к северо-востоку гремело, не утихая, огромное сражение – немец-

кие дивизии прорывались в Питер. А дивизия народного ополчения получила приказ занять позиции в урочище Порожки, вдоль Гостилицкого шоссе, ведущего в Петергоф.

На исходе ночи 3-й полк вошел в большую деревню Гостилицы и расположился на часовой отдых. Тут начиналась широкая деревенская улица, по обе стороны стояли темные, еще не тронутые войной избы.

Рассветало медленно и, как подумалось Иосифу, неохотно. Природа – поля, овраги, леса и небо, особенно небо, не успевавшее очистить себя от дымов, – была явно враждебна войне.

Из серенькой пелены рассвета проступило дощатое ограждение колодца в недальней перспективе улицы. Там звякали ведром, крутили рукоять во́рота несколько фигур – все в черных бушлатах. Потянулись к колодцу и ополченцы.

Скрипел ворот, наматывая цепь, поднимая наполненное ведро. Моряк с тремя «галочками» на рукаве бушлата подхватил ведро и обратил к ополченцам широкое лицо с усами, словно отлитыми из меди:

– Давай, пехота, подставляй котелки!

Иосиф, когда подошла его очередь, подставил под струю воды котелок и сказал:

– У меня друг воюет в морской пехоте, он тоже курсант.

– Как фамилия? – гаркнул медноусый.

– Плещеев. Он из училища Фрунзе.

– Не, мы не из Фрунзе. Из инженерно-технического учи-

лища ве-мэ-эф.

– У нас, – сказал другой моряк, в лихо заломленной бескозырке, – Плещунов есть. Не подойдет тебе?

– Нет, – качнул головой Иосиф.

– Жаль. Мы бы отдали его. Он очень силен в сухопутной стратегии, а также…

– Хватит травить, – заметил третий курсант. Возможно, он-то и был Плещуновым. – Давайте быстрей, водохлебы. Скоро фриц прилетит.

Недолгим был отдых. Ополченцы покинули Гостилицы, потопали по дороге на север. Слева к шоссе подступал смешанный лес и виднелась возвышавшаяся над ним верхушка горы. Она была округлая, поросшая негустым сосняком.

Еще не знали ополченцы, что гора эта называется Колокольней. Но вскоре узнали.

Части 2-й дивизии народного ополчения с ходу прошли через деревню Порожки и к северу от нее стали занимать позиции вдоль Гостилицкого шоссе, до соседней деревни Петровское.

А в Гостилицах тем временем разгорелся бой – были слышны пушечные удары и скороговорка пулеметов. Там горели избы, дымом окутались огороды. Немцев, прорвавшихся в Гостилицы, атаковала 2-я бригада морской пехоты. Четверо суток шел бой. Морпехи выбили немцев из Гостилиц. Но, получив подкрепление, противник вновь овладел этой

большой и, вероятно, тактически важной деревней. Отступив, морская пехота удержала гору Колокольню – высоту, господствующую над местностью.

Состыковав свои позиции с окопами морпехов, ополченцы заняли, что называется, жесткую оборону. Уже не те неумелые, плохо владеющие оружием новобранцы, какими были месяц назад, – дрались ожесточенно. Командиры – от ротных до комдива – орали в трубки полевых телефонов: «Боеприпасов!»

Немцы, пробив коридор к Финскому заливу, заняв Новый Петергоф и Стрельну, отрезали дивизию ополчения от Ленинграда. Дивизия оказалась на юго-восточном выступе Ораниенбаумского плацдарма. В сентябре, когда земля кричала от боли, а небо заволоклось кровавой пеленой, – в страшном, окаянном сентябре – ополченцы 2-й дивизии, голодные, на пределе сил и боеприпасов, отбивали атаки немцев. Наконец службы тыла разобрались в обстановке: стало прибывать снабжение. По проселочным и лесным дорогам грузовики везли из Ораниенбаума боеприпасы и провиант. И, что не менее важно, теплое обмундирование. То есть шинели. Ополченцы шинелям сильно обрадовались: очень намерзлись по ночам в окопах. Ведь осень уже подступала. Осень, ребята… А вы и не заметили, что лето кончилось…

Это Иосиф Виленский так подумал. Он-то, со своей простудой чертовой, как взял из рук старшины роты шинель, так и влез в нее поскорей, даром что шинель оказалась ему не

по росту великоватой. Юркин как глянул на него, так и покатился со смеху:

– Ну и шинель у тебя! Хлястик на жопе!

– Чего ты ржешь? Такая теперь мода, – сказал сквозь кашель Иосиф.

– Мода? – Юркин озадаченно помигал на него.

– Да. Приказ был наркома, как правильно хлястик должен быть расположен.

– Ну да! – усомнился Юркин. – Не может быть, чтоб приказ насчет хлястика.

К концу сентября поплыли с запада гонимые ветром тучи, пролились дожди. И что-то происходило на фронте. Заметно поубавилось налетов пикировщиков. Артобстрелов меньше не стало. Но целые дни проходили без немецких атак. Ополченцы копали ямы для землянок, накрывали сосновыми стволами, землей засыпали. Было похоже, что располагались тут, в урочище Порожки, надолго.

Но вдруг (а на войне все *вдруг* и происходит) приказ поступил батальону морской пехоты, оборонявшему гору Колокольню, передвинуться куда-то. А чтобы важную высоту не оставлять без защиты, было приказано дивизии народного ополчения выдвинуть один из батальонов на Колокольню. Как раз и оказался этим батальоном тот, в состав которого входил боец Иосиф Виленский.

Ворчали недовольно ополченцы, темной ночью двигаясь к высоте: только землянок понарыли, утеплились, как на́ тебе,

все бросай на хрен и лезь на гору. А Колокольню эту фрицы очень хотят отобрать, потому как с нее видна текущая вокруг война. Немецкие позиции недалеко были, за полем, заросшим мелким кустарником, и где-то там, за посадками близ деревни Гостилицы, располагались их батареи.

Особенно досаждала минометная. Несколько раз в день немцы засыпáли Колокольню минами. На склоне горы, обращенном к противнику, морская пехота успела выкопать траншеи и ходы сообщения, в них и укрывались от огня ополченцы. На обратной от противника стороне копали землянки; лопатки часто натыкались на скальную породу, ополченцы материли Колокольню и искали податливый грунт.

Война – это много тяжелой работы. Особенно если твоя позиция на горе.

Колокольня, Колокольня…

Ну да, обзор отсюда, с высоты, хороший. Если, конечно, не стоит стеной обложной дождь и не стелется над местностью туман. В солнечный день – ну просто красивый вид. Лес, уходящий широкой полосой на север, к Ораниенбауму, – как зеленый бархат, расстеленный… кем, собственно?.. Если не матушкой Природой, то – ладно, пусть Господом Богом… которого, как знали бойцы батальона, нет…

Комбат по рации связывался со штабом полка, просил огонька, давал координаты немецких батарей у Гостилиц. Полк связывался со штабом дивизии, – и вскоре пушки артдивизиона начинали обстрел батарей противника. Те отвеча-

ли огнем, артиллерийская дуэль раскатывала нарастающий грохот, над Колокольней выла, дико свистела сталь встречных снарядов.

Колокольня, ах ты ж, Колокольня…

От военкома батальона Бородина узнали важную новость: противник, остановленный на пороге Ленинграда, прекратил штурм и начал окапываться.

– Ага! – воскликнул комвзвода Захаркин. – Окапывается, значит, это… позиционная, значит…

– Да, переход к позиционной войне, – подтвердил Бородин, указательным пальцем поправляя очки на носу. – Но это, товарищи, не значит, что противник перестанет атаковать. Фашисты продолжают угрожать нам. Дескать, разрушим Ленинград, сравняем его с землей. А Кронштадт – с водой. Такую пишут хреновину в своих листовках.

В тот день шел дождь – по-осеннему холодный, долгий. Весь день работали под дождем – рыли землянки, рубили топорами и валили сосны. Вечером, наевшись перловой каши и попив чаю, набились в те землянки, что были готовы для заселения. Иосиф еще и дозор отстоял (за противником беспрерывно наблюдали, сменяясь каждые четыре часа). В начале первого ночи залез он в землянку, где размещалось полвзвода, и втиснулся на свое место между бойцом Юркиным и пожилым, почти сорокалетним бойцом Елисеевым. Прежде чем улечься на подстилку из сосновых веток, Иосиф

стянул с себя мокрую шинель. В землянке не тепло было, но хоть дождь не лил.

Только улегся, как напал на него кашель. Иосиф рот зажимал рукой, чтоб ребят не разбудить, но разве кашель уймешь? Вон Юркин проснулся, заерзал, зашуршал подстилкой. А Елисеев – как храпел, так и храпит, его кашлем не разбудишь. Он до войны на пивоваренном заводе работал, и не простым рабочим, а техником, и интересно рассказывал, как надо правильно варить пиво, и всякий раз споры разгорались, потому как имелись на этот счет разные мнения.

Наконец отпустил кашель. Иосиф лежал на спине, накрывшись мокрой шинелью и надеясь, что до утра она высохнет, хотя полной уверенности не было.

Юркин сказал вполголоса:

– Я знаешь, как лечился, когда простужался? Мороженое кушал.

– Мороженое? – удивился Иосиф.

– Ага. Клин клином! Бабушка так научила.

– Ну, если бабушка… тогда конечно…

– Особенно я эскимо любил. Помнишь, появилось в продаже? На палочке, в шоколаде. Эскимо!

– Конечно, помню. Я тоже его любил.

– Вот кончится война, мы с тобой, Иосиф, эскимо накупим, наедимся – и поиграем дуэ́том. Ты на скрипке, я на гитаре…

– Тихо вы! – раздался из угла землянки голос командира

взвода Захаркина. – Разговорились два друга… медаль и подруга.

– Не медаль, а модель, – буркнул Иосиф.

Ему хотелось заснуть. Вон Юркин – умолк и уже через полминуты уснул, слегка посвистывая. А Иосифу не спалось. Прокрутилась в голове мысль о Захаркине: взводный заметно потеплел к нему с того дня, когда они с Юркиным захватили двух немецких летчиков. Однажды спросил вдруг, не врач ли у него, Иосифа, отец: его, Захаркина, жена болеет, что-то с головой неладно, частые боли, а он слыхал, что у евреев врачи хорошие, так вот – не доктор ли его, Иосифа, отец. Иосиф сказал, что отец умер, он не был врачом, а вот мать – как раз врач. И они с Захаркиным уговорились, что как только вернутся в Ленинград, так и посмотрит мама Иосифа захаркинскую супругу.

И, конечно, отца вспоминает Иосиф. Удивительный он был человек. Как совершил в юности, молодым приват-доцентом, поездку в Грецию и на Крит, так будто и остался там навсегда. Война, революция, голод в Петрограде – все это имело малое касательство к его жизни, а вот Троянская или Пелопоннесская война – это и была сугубая реальность. Однако когда пустили на продажу знаменитые картины из Эрмитажа, отец резко высказался против, – и ему, олимпийцу самозванному, тут же напомнили, что живет он не под древнегреческими небесами. Выперли из университета, запретили издание книги. Отец свалился с параличом… мама

несколько лет тянула его, тянула…

Хочет заснуть Иосиф – а не спится. Лежит под мокрой шинелью в земляной яме… как в первобытной пещере… а в голову, одуревшую от тяжелой работы, от сволочного свиста немецких мин, от жизни на горé, на которой жить невозможно, – лезут в голову мысли-воспоминания. Как там мама и Райка – как живут под бомбежками? Ленинград ведь окружен, железные дороги перерезаны…

А ты, Анечка, милая? Где ты, Анка? На оборонительных работах? Руки не повреди! Свои красивые белые руки… Как хочется их целовать – твои удивительные руки…

Знаешь, Анка, это смешно, но я все еще думаю о том, как надо играть «Чакону». В строгой манере! Ничего не навязывать. С первых же ударов смычка – басовая тема… Чтобы сразу – ожидание чего-то очень важного в жизни… басовые вариации главной темы – как шаги судьбы… да-да, Анка, *шествие судьбы*! В этом – патетика «Чаконы»… И вот еще смешная мысль: хорошо бы сыграть «Чакону» на старинной скрипке… например, на скрипке мастера семнадцатого века Руджиери… смычок короче, струны другие… звук немного другой… более близкий Баху, верно? Тáк сыграть «Чакону», чтобы Баху могло понравиться, – вот задачка, а? Бах – это по-немецки «ручей». Но здорово сказал когда-то Бетховен: «Nicht Bach – Meer sollte er heissen» – «Не ручьем, а морем должен был он зваться»…

Такие дела, Анка. Тут, на горе Колокольне, я мысленно

играю «Чакону»…

Что за глупости лезут в голову… Это, верно, оттого, что лежишь под мокрой шинелью и пытаешься уснуть… и ничего не известно о будущем… даже и о завтрашнем дне… если он наступит… Спокойной ночи, милая…

Дождь к утру утих. Серенький, невзрачный наступил рассвет, – и тут началось. Немецкие батареи накрыли Колокольню шквалом беглого огня. Разрывы снарядов рвали склон, обращенный к противнику, били по верхушке горы. Колокольня покрылась дымом, содрогалась от обвального грохота.

Батареи ополченческой дивизии открыли ответный огонь. Он ли заставил замолчать немецкие пушки или те сами заткнулись, закончив артподготовку, – но уже двинулись к Колокольне машины мотопехоты. Ревя моторами, они полным ходом катили по открытому полю, подминая кустарник. В каждой, как круглых шляпок грибов, было понатыкано множество касок немецких солдат.

Пушки ополченцев перенесли огонь на ничейное поле – били сбоку, из лесочка, прямой наводкой. Несколько машин остановились, опрокинулись, – с горы было видно, как из них повалил дым. Но остальные машины прорвались к подножью Колокольни, из них повыпрыгивали солдаты в зеленых мундирах, с автоматами, с пулеметами, и, рассыпаясь цепью, полезли наверх. По ним ударили уцелевшие огневые

точки ополченцев – несколько станковых пулеметов строчили из окопов на середине горного склона, били и ручные пулеметы Дегтярева, вели огонь из винтовок и стрелки.

Бой то утихал, то с новой силой разгорался. Немецкие штурмовые группы вскоре опоясали всю высоту и упорно продвигались сквозь кусты и купы деревьев – вверх, вверх. Ополченцы, перебегая, пытались их остановить. Потери с обеих сторон нарастали… сквозь пальбу слышались стоны раненых… отрывистые команды немецких офицеров… выкрики ополченских командиров… яростные матюги…

Бой складывался плохо. В самом его начале шальной снаряд рванул на командном пункте батальона на вершине горы. Как раз из землянки КП вышел комбат – поглядеть в бинокль на обстановку – и упал замертво, изрешеченный осколками. Вскоре был тяжело ранен военком. Начштаба, суетливый старший лейтенант, метался по окопам и ходам сообщений, орал на командиров рот, требуя перемещений, но обстановка боя становилась все хуже. К полудню противник выбил ополченцев почти со всех позиций на теле горы – только верхушка Колокольни сопротивлялась.

Здесь и взвод Захаркина оборонялся. Как залегли у каменистой гряды, за которой начинался некрутой спуск по протоптанной дорожке, так и держались тут с двумя «дегтярями». Уже несколько раз отбились от штурмовых групп, появлявшихся с этой стороны.

Начштаба прокричал Захаркину:

– Влево передвинься! На сто метров! Ты слышишь?

– Взво-од, за мной! – скомандовал своим громовым голосом Захаркин и пошел быстрым шагом, маленький и непреклонный, в пилотке, надвинутой на брови. (Пилотка была с чужой головы, свою Захаркин потерял в каком-то бою.)

Иосиф Виленский и другие уцелевшие бойцы взвода шли за ним. Шинель у Иосифа не высохла за ночь, ее тяжелые полы били по ногам. А в голове одна только мысль: сколько патронов осталось в подсумке и в вещмешке? Вдруг Иосиф увидел: возле штабной землянки, под сосной, привалясь спиной к ее пятнистому стволу, сидел военком батальона Бородин. Без очков, с закрытыми глазами. Над ним нагнулся санитар, нащупывая пульс на тощей шее.

– Живой? – спросил Иосиф.

Санитар покачал головой.

Новая позиция была хуже предыдущей. Там каменистая гряда прикрывала от пуль, а здесь открытое было место, покатое, поросшее кустарником, и торчали побитые артогнем десятка два сосен. Из-за этих сосен ударили немецкие пулеметы-машиненгевéры. Из своего «дегтяря» ответил длинной очередью Елисеев. Несколько минут длилась их перестрелка, потом наступила пауза, немцы меняли позицию, замелькали там, за соснами, перебегающие зеленые фигуры, бойцы захаркинского взвода били по ним из винтовок.

Иосиф стрелял, держа ствол винтовки на поваленной сосне. Заставлял себя не спешить, прицеливался. Брал упре-

ждение, одно только это дело и оставалось делать – брать на мушку врагов, прикативших из Германии сюда, к горе Колокольне. Страха не было – только тоскливое чувство безысходности…

Елисеев, сменивший позицию, поник, с коротким выкриком упал на ручной пулемет. Захаркин подполз, оттащил его тело в сторону и короткими очередями ударил из «дегтяря» по солдатам противника, перебегающим среди кустарника.

Тут с двух сторон опять застучали немецкие пулеметы. Иосиф, глянув вправо, увидел, как Юркин схватился за окровавленную голову. Крика не услышал. Очень плотен был огонь. Но своим громоподобным голосом Захаркин перекрыл грохот боя.

– Воронков! – выкрикнул он фамилию начштаба. – Подкрепление давай сюда!

А где он, начштаба, старлей суетливый? Услышал ли? Да и жив ли? А если жив, откуда он возьмет подкрепление?

Пули свистят над горой. Стучат, стучат пулеметы.

– Виленский! – орет Захаркин. – Диски подай!

Лицо Захаркина – страшно. Бесцветные глаза едва не вылезли из орбит. И почудилось Иосифу, что рябины на щеках комвзвода налились чернотой.

Иосиф нащупал в кустах коробку, подполз, подал диск. Захаркин выбил опустевший диск, заменил новым – и вдруг, охнув, рухнул ничком.

Стучат пулеметы над горой Колокольней. Свистят, сви-

стят пули. Плотен огонь.

На миг подняв голову, Иосиф Виленский увидел в сером небе словно бы уголок голубого одеяла. Промелькнула голубизна – и исчезла, затянулась густой облачностью.

Развернув ствол «дегтяря» вправо, Иосиф послал трассирующие очереди во вспышки немецкого пулемета. Вдруг увидел: поднявшись из кустов, бегут прямо на него немецкие солдаты. Быстро мигающее пламя их автоматов увидел. Последние вспышки огня. И – мгновенная страшная боль.

Он упал рядом с телом Захаркина. Их кровь смешалась.

Глава седьмая
Рейд по финскому тылу

Травникова ранило, когда на исходе ночи разведгруппа выходила из тыла противника.

Поначалу операция развивалась успешно. Мы на лыжах тихонько обошли по льду передний край финнов, упиравшийся в берег Ладоги, и вклинились в их тыл неподалеку от деревни Гумбарицы. У нашей боевой задачи было солидное название – «вскрыть систему огня и особенности обороны противника». А попросту говоря, это была разведка боем. Один из батальонов 3-й бригады морпехоты предпринял фронтальную атаку – через замерзшую Свирь – и таким образом отвлек внимание финнов от скрытного рейда нашей разведгруппы. Мы, два взвода с тремя пулеметами на волокушах, проникли со стороны озера в тыл противника и наделали там шуму. Расстреляли их наблюдательные посты, белыми призраками (в маскхалатах, конечно) промчались по лесной опушке, с ходу обстреляли финскую батарею на окраине Гумбарицы, которая вела огонь по демонстративно атакующему батальону. В общем, малость пошумели в ближнем тылу. И убедились, не в первый раз уже, что «особенность обороны противника» состоит в том, что она построена крепко и глубоко эшелонирована.

Конечно, финны не хлопали ушами. Разобрались, кто и какими силами не дает им спать холодной мартовской ночью. На выходе из тыла противника, в сосновом лесу на бровке береговой полосы, разведгруппа нарвалась на финский лыжный отряд, спешивший на пере-сечку нашего движения. Мы были уже порядком измотаны, скорость продвижения у нас снизилась. С ходу мы повалились носом в снег, предрассветный воздух над нашими головами прошили трассы пулеметного и автоматного огня. Полетели щепки от разодранных пулями сосновых стволов. Одна чуть не выбила мне глаз, в кровь разбила правую скулу. Черт знает, сколько длилась перестрелка, – время тоже было насквозь прострочено цветными трассами и замерло в ожидании: чья возьмет?

Финны явно стремились окружить разведгруппу, не дать ей выйти на лед озера. Лейтенант Сахацкий, выпускник нашего училища, крикнул Травникову:

– Передвинься с двумя пулеметами влево, к поваленным деревьям! Прикроешь отход! Движение к озеру по той лощине, – показал он. – Дам ракету – пойдешь и ты на лед со своими ребятами! Понял?

Что тут не понять. Мы, взвод мичмана Травникова, переползли к соснам, поваленным артогнем прошлой осенью. Трудно это – ползти по снегу в маскхалате, с неснятыми лыжами, с палками в одной руке, с винтовкой в другой. Да и не ползли мы, а передвигались, так сказать, вприсядку, на ка-

рачках. Лоскутов и Ивакин, к тому же, тянули за собой волокуши с двумя станковыми пулеметами. Такое шествие легко расстрелять, но нам помогла предрассветная темень. В здешних дремучих лесах и ясным днем темновато, а уж ночью и подавно. Тут леший бродит… покачиваются под порывами ледяного ветра сосны и мохнатые ели… из-за их черных стволов хищно смотрят, перемигиваются волчьи глаза… Да какие там волки – это мигают вспышки финских пулеметов и автоматов.

Ну, короче, прикрыли мы огнем отход взвода Сахацкого и ждем ракету – сигнал, что он вышел на озеро и, значит, можно и нам туда прорываться. А ракеты нет и нет. Смотрю на своего «Павла Буре», сорок минут прошло, Сахацкий наверняка до озера добрался. Говорю Травникову:

– Давай отходить. А то рассветает уже, нам не дадут пройти.

А он:

– Надо ждать ракету.

Ну что ж. Он командир (а я, между прочим, помкомвзвода) и, значит, лучше, чем я, знает, что и когда надо делать. Вот только предотвратить рассвет Травников не может. А в лесу, между тем, становилось светлее.

Перестрелка усилилась – а ракеты все нет…

Вдруг крикнул Пожалов, второй номер у пулеметчика Ивакина:

– Командир! Ивакина убило!

Я выматерился сквозь зубы и говорю Травникову:

– Ну, все! Давай команду отходить! Или я скомандую!

Он поправил каску на голове, помянул «япону мать» и прокричал: – Внимание! Отходим на лед! Взвод, за мной!

Мне он бросил, чтоб я шел замыкающим, и, встав на лыжи, направился в ту сторону, где начиналась лощина, а вернее, овраг, выходящий к береговой кромке. За ним пошли ребята, разминая замерзшие ноги. Белые призраки, лешие здешних лесов…

Я помог тщедушному Пожалову уложить тяжелое безжизненное тело Ивакина на волокушу, рядом с неостывшим пулеметом, и мы потащили ее на недлинном конце, замыкая вереницу взвода. (Вообще-то, если точно, было нас не больше полувзвода. Полного состава не имело ни одно подразделение на передовой.) Вслед нам свистели пули, справа ударили финские автоматчики, но мы уже вкатились в овраг. Спуск оказался довольно крутым. Волокуша, движимая тяжестью пулемета и тела Ивакина, ринулась вниз и наехала на меня, сбила с ног. Ее полозья остановились на моей спине, я слышал, как что-то хрустнуло, и подумал, что сломался позвоночник. Но, выбравшись с помощью Пожалова из-под саней, я убедился, что способен стоять на ногах и даже медленно двигаться на лыжах. Очень болел копчик, принявший удар волокуши. Уж не сломан ли? Да еще при падении в густой кустарник его тугие прутья хлестанули меня по лицу. Я тащился, превозмогая боль, по лыжне, по следу ушедшей

группы, – и вот впереди, за кустарником, просветлело.

Наконец-то! Синевой раннего утра встретила Ладога. Лед был не ровный, громоздились торосы – ледяные холмы, раскиданные по всему окоему. Снежный покров тоже не был однообразно ровным – где намело с полметра, а где сдуло бешеными ладожскими ветрами, обнажив лед.

Ну, теперь влево, вдоль темной линии лесистого берега – к расположению бригады, к теплым землянкам, к кружке горячего чая. Взвод Сахацкого уже и начал движение – вон машут палками, скрываясь за торосами. А Травников объявил нашему взводу десятиминутный перекур. Командирам отделений велел доложить, все ли бойцы в сборе.

Я подъехал к нему, сказал о гибели пулеметчика Ивакина.

– Да, – вздохнул Травников. – Эх, Борька Ивакин… Непутевая голова…

Я знал, Ивакин был его однокурсником, такой веселый малый, дерзкий на язык. Учился он неплохо, но имел пристрастие к выпивке, из увольнений возвращался нетрезвый, с опозданием. Конечно, он получал взыскания, на «губе» сиживал, однако до поры до времени училищное начальство относилось к его выходкам терпеливо. Но первого мая прошлого года Ивакин ушел в увольнение и не вернулся ни к двадцати трем часам, ни ночью, ни даже утром. Лишь к вечеру второго мая заявился, опухший, со странной кривой улыбкой. Этого загула Ивакину не простили – отчислили из

училища и списали на рядовую службу, в Кронрайон СНиС[8], что ли. А как началась война, ушел Ивакин на сухопутье, и привела его военная судьба в 3-ю бригаду морской пехоты, на речку Свирь. Сюда же и нас, группу курсантов-фрунзенцев, в октябре перебросили через Ладогу, – вот и встретились они, бывшие однокурсники Ивакин и Травников…

– Ты ранен? – спросил Травников. – У тебя лицо в крови.

– Да нет, – говорю, докуривая махорочный чинарик. – Ветками оцарапало.

– Взводный! – крикнул кто-то из ребят. – Савкина нету!

– Кто видел его в последний раз? – спросил, поворотясь, Травников. – Может, ранен он? Или убит?

Тут воткнулся нам в уши быстро нарастающий свист. До тошноты знакомый свист летящей мины. Взрыв. Чей-то выкрик…

– Ложись! – заорал Травников. – Рассредото…

Но не успел договорить: разрыв очередной мины достал его. Он упал, сбив меня с ног. Стоя на коленях, я приподнял его, взяв за плечи.

– Ничего… не больно… – проговорил Травников, прижав ладонь к груди. – Выводи взвод…

Под его пальцами расплывалось по маскхалату алое пятно.

Наверное, финны, подвезя на берег миномет, неясно ви-

[8] СНиС – Служба наблюдения и связи.

дели группу лыжников в белых халатах среди торосов. Так или иначе огневой налет был коротким, да и передвинулся куда-то вбок. Ранены были двое – Гребенчук и Травников. Их везли на волокушах.

Когда вышли из зоны огня, Плещеев, принявший командование взводом, приказал остановиться, чтобы перевязать раненых. Гребенчук, когда санитар раздел его до пояса, жаловался, что холодно, и просил не щекотать.

– Я щукотки боюсь, – голосил фальцетом этот веселый хохол, первый трепач во взводе.

У него рана была легкая.

А вот Травников очень Плещеева тревожил. Поначалу все твердил, что ничего, боли нету, но вскоре умолк. Осколок мины, влетевший ему в грудь, видимо, затруднял дыхание. Травников хрипел, задыхался. Лицо у него сделалось белым, как маскхалат. Плещеев скомандовал начать движение.

– Шире шаг! – крикнул он.

Только бы продержался Травников оставшиеся несколько километров. Только бы не умер… «Осколок в меня летел, в меня! А Валька рядом стоял… принял осколок…» Неотвязно билась у Плещеева в голове эта мысль, заставляла бежать, превозмогая боль и дикую усталость, – второе дыхание, наверно, появилось…

– Шире шаг!

Наконец-то береговая полоса слева приобрела привычные очертания. Ну вот проход через заминированную полосу,

сквозь проволочные заграждения, – и начинается расположение бригады морпехоты, траншеи и дзоты, жилые землянки с торчащими из снега трубами от печек-времянок, полевая кухня, дымящая на краю утоптанной лесной поляны.

Подвезли волокуши к землянкам бригадной медсанчасти. Тут стояли, курили лейтенант Сахацкий и военврач Арутюнов, недавно появившийся в бригаде, молодой, черноглазый и черноусый, в армейской форме. (Слух прошел, что всю морскую пехоту переоденут в армейское, сухопутное. Но пока не переодели.)

– Что, Валентин убит? – вскричал Сахацкий, взглянув на мертвенно бледное лицо Травникова.

Тот раскрыл глаза, пробормотал:

– Не совсем…

Арутюнов немедля принялся за дело. Травникова и Гребенчука, переложив на носилки, потащили в землянку медсанчасти. Вскоре туда прошел, сутулясь, главврач Потресов. За ним поспешала Лена Бирюля, операционная медсестра, бойкая синеглазая девица «с довоенным цветом лица», как говорил, посмеиваясь, Плещеев, тайно по Лене вздыхающий. Она, проходя мимо, метнула в него, как синюю молнию, по-женски быстрый взгляд.

– Тяжело его ранило? – спросил Сахацкий, щелчком отбросив окурок в снег.

– Тяжело. – Плещеев снял каску, сдвинул со лба шерстяной подшлемник. – Почему вы ракету не дали?

– Как это не дали? Три ракеты выстрелил я лично! – У Сахацкого, когда он кричал, рассерженный, в углах тонких губ пена проступала. – А вы там как будто заснули!

– Ну, значит, нам приснилось, что финны атакуют. Что Борю Ивакина убили… Да не кричи ты… – поморщился Плещеев.

Он Сахацкого, крикуна этого, давно знал, в волейбол играли в одной команде. Но прошлым летом Сахацкий училище окончил, получил лейтенантские нашивки.

– Я хотел сказать, товарищ лейтенант, – спохватился Плещеев, что надо же соблюдать субординацию, – что мы ваши ракеты потому не увидели, что в лесу так темно, как у негра в жопе.

– Какие в твоем взводе потери, кроме Ивакина?

– Еще Савкин. Правда, его никто не видел убитым. А из лесу на лед он не вышел.

– Вы что – оставили его умирать в лесу?

– Никто не оставлял. Говорю же, не видели…

– Надо было видеть! Ну, пошли в штаб докладывать.

Сахацкий, с лыжами и палками под мышкой, двинулся по протоптанной в лесу дорожке к штабу бригады.

– Погоди, лейтенант, – хмуро сказал Плещеев. – Рано еще. Давайте чаю попьем горячего.

* * *

В просторной землянке, приспособленной под операционную палату, лежал на столе, на белой простыне, Травников. Санитарка Дроздова обтерла ему грудь, залитую кровью. Другая санитарка Пичугина («наши птички», называли их раненые) зажгла все четыре керосиновые лампы, подкинула дров в печку в углу землянки. И стало тут почти светло и тепло. Лена Бирюля готовила к операции инструменты и прислушивалась к негромкому разговору врачей, осматривающих рану Травникова.

– Кровоизлияние в полость плевры, – хмурился над раненым начальник медсанчасти Потресов.

– Да, гемоторакс громадный, – покачал черноволосой головой доктор Арутюнов.

– Обнажить легкое невозможно.

– Невозможно, – подтвердил Арутюнов. – Но убрать осколок-то нужно. Придется откачать из плевры кровь.

– Да вы что, Сурен? Такая потеря крови… – Потресов прикоснулся длинными пальцами к шее Травникова. – Пульс нитевидный. Он даже прокола грудной клетки не выдержит.

– Николай Иванович, ничего другого не остается.

Врачи помолчали, раздумывая.

И тут Лена, тряхнув белокурой головой, закатала рукава фланелевки и тельняшки, прошла к другому столу и легла

со словами:

– Николай Иваныч, забирайте кровь. Я готова.

– Ну вот, – вздернул брови Арутюнов, – Лена за нас решила. Да, Николай Иванович?

Потресов кивнул и отправился к рукомойнику. Арутюнов тоже помыл руки и, войдя иглой в вену девушки, начал забор крови. Лена, прищурясь, спокойно смотрела, как тоненькой струйкой лилась в колбу ее теплая кровь. Уже не в первый раз отдавала она свою кровь первой группы, пригодную для переливания раненым с любой другой группой крови.

– Стоп! – сказал Потресов. – Четыреста кубиков. Спасибо, Леночка. Начинайте, Сурен.

Взяв большой шприц, Арутюнов подступил к Травникову и чуть помедлил, прислушиваясь к его трудному и, похоже, угасающему дыханию. Затем решительно проколол иглой грудную клетку Травникова – шприц стал наполняться кровью, откачиваемой из плевры. Потресов перевязал Лене руку и начал переливание взятой у нее крови в вену Травникова.

Тихо было в операционной. Санитарки, «наши птички» хлопотливые, сидели в углу притихшие, словно опасаясь обычной своей болтовней нарушить значительность происходящего.

Шприц за шприцем наполнялась ванночка, – около литра крови откачал доктор Арутюнов из плевры Травникова. Одновременно в его вену шла свежая кровь. Лена сказала

негромко:

– Кажется, дыхание выравнивается.

С каждой минутой становилось все заметней: раненый оживал. Появился пульс, освободилось от тяжких хрипов и перебоев дыхание.

В тот же день, спустя несколько часов, Травникова прооперировали. При свете керосиновых ламп (две лампы держали над столом санитарки Дроздова и Пичугина) хирург Арутюнов обнажил легкое Травникова, уснувшего под эфирным наркозом, и извлек крупный осколок мины. Долго, тщательно сшивал поврежденные сосуды. Лена Бирюля помогала ему.

Вечер выдался сравнительно тихий. Погромыхивала артиллерия выше по Свири, где-то в районе Лодейного Поля, у Подпорожья, где финны вцепились в плацдарм на левом берегу, и выбить их оттуда не удавалось. А тут, при впадении Свири в Ладожское озеро, на удерживаемом 3-й бригадой морпехоты пятачке на правом берегу, пушки помалкивали. Только строчили пулеметы на передке – вели беспокоящий огонь.

У Плещеева недавно произошел неприятный разговор. В землянке комбата его допрашивал бригадный особист, майор с буденновскими усами на вытянутом лице – черная горизонталь на бледной вертикали. Особиста интересовало, как получилось, что боец Владлен Савкин не вернулся из рейда,

ни живой, ни убитый. Что мог ответить Плещеев на строгие вопросы? Бой шел под утро, в темном лесу, команды – передвинуться, начать отход – отдавались голосом… если ты ранен, то можешь и не услышать…

– А если не ранен, а притаился? – прервал его особист.

– То есть как? – выдохнул Плещеев. – Что это значит?

– Это значит, ждал конца боя, чтобы сдаться в плен.

– Да вы что, товарищ майор! – Плещеев, ошеломленный, вскочил со скамьи.

На столе, сколоченном из неструганных досок, заколебался огонек коптилки в узком горле сплющенной снарядной гильзы.

– Сядьте, Плещеев, – сказал особист и постучал пальцем по столу. – Что вы знаете о Савкине?

– Ну, знаю, что у него отец военный инженер, полковник…

– Про отца нам известно. О самом Савкине – что знаете, как помкомвзвода? О его настроениях.

– О настроениях? Ну, ничего такого… Нормальный боец. Скрытный немного. Молчаливый.

– А-а, скрытный. То-то и оно. – Опять постучал майор по столу. – Нам известно, что у Савкина были высказывания.

– Какие высказывания?

– Что у финнов тут, на Свири, линия не слабее, чем линия Маннергейма в финскую войну.

Плещеев пожал плечами. Чего он, майор особого отдела,

привязался к нему? Он, Плещеев, не обязан прислушиваться, о чем говорят между собой бойцы взвода. Настроения!

– Настроение, товарищ майор, – сказал он, щуря глаза на коптилку, – во взводе нормальное. Мы знаем обстановку. Знаем, что не даем немцам и финнам замкнуть второе кольцо окружения Питера. Об этом и высказываемся…

– Если завтра, – опять прервал его особист, – по финскому радио услышим Савкина, как он зовет советских бойцов в плен, так разговор у нас, Плещеев, будет другой.

С этими словами особист, надвинув шапку на брови, вылез из землянки. Плещеев, расстроенный неприятным разговором, спросил у командира батальона разрешения выйти. Комбат, не проронивший при разговоре-допросе ни слова, сказал:

– Сядь, Плещеев. – Протянул пачку «Беломора». – Закуривай.

«Беломор», конечно, папиросы хорошие, но что-то не получалось у Плещеева удовольствия от первых затяжек.

– С чего майор взял, – спросил он, – что Савкин сдался в плен?

– Работа у них такая, – ответил комбат, перегнав дымящуюся «беломорину» из одного угла широкого рта в другой. – Лучше подозревать, чем прозевать… Я тебя не допрашиваю, Плещеев, – сказал он, помолчав, – но просто по-человечески скажи, что́ ты думаешь по делу Савкина.

– Да нет никакого дела, товарищ капитан. Савкин не мог

сдаться в плен. Ну, не верю я.

– Прямо не знаю, что́ доложить комиссару бригады… С ним же не просто, с Савкиным. Его отец чуть не всей инженерной службой командует на Ленфронте.

– Я помню, товарищ капитан, он приезжал к нам в Дерябинские казармы с сыном повидаться. – Плещеев поднялся. – Савкин, когда в лесу бой завязался, наверняка был тяжело ранен или убит. Вы так и доложите. Разрешите, я пойду, товарищ капитан. Нам в боевое охранение скоро заступать. А я хочу успеть Травникова проведать.

– Как он там? Продышался? Ну ладно, Плещеев, ступай.

Темный, сырой, бесприютный был вечер. У Плещеева от этой сырости поламывало в костях, когда он шел к землянкам медсанчасти. Ветер вдруг ударил в лицо колкой ледяной крупой. Плещеев остановился, поворотясь спиной к ветру, лицом на север – перевести дыхание.

А ведь там, подумалось ему, недалеко за финскими позициями, течет в Ладогу тихая речка Олонка, и стоит на ее берегу деревянный городок Олонец. Ему, Вадиму, три года было, когда отец однажды летом привез его в этот Олонец – с дедом и бабушкой познакомиться. Бабушку он, Вадим, помнил плохо, а вот дед Василий, высокий и прямой, с лысой головой и скрипучим голосом, хорошо запомнился. На второй, что ли, день он, Вадим, во дворе стал гоняться за курами, те страшно раскричались, раскудахтались, и дед Василий, выйдя на шум, подхватил его, Вадима, на руки. Нет,

не побил, но понес в комнату – в горницу – и посадил его на шкаф. Вадиму стало страшно под потолком, он расплакался, а дед, стоя под ним, втолковывал, что нельзя кур гонять и вообще обижать домашних птиц и животных…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.